

1 руб. 75 коп.

М. ДАНИЭЛЬ ЮЛИС

АДРЕС ИЗДАТЕЛЬСТВА  
Москва, центр, ул. 10 Октября, 10 В

ОКЛАД ИЗДАНИЙ  
Москва, центр, б. Черкасский, пер. 5  
КОГИ В



М. ДАНИЭЛЬ

ГОСЛИТИЗДАТ 1935



Проверено 1939 г.

Проверено 1937 г.

---

ПРОВЕРЕНО 2000Г

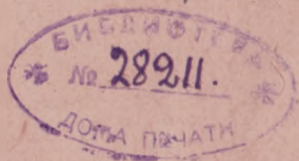


№ 18.

М. ДАНИЭЛЬ

# Ю Л И С

АВТОРИЗОВАННЫЙ ПЕРЕВОД  
С ЕВРЕЙСКОГО  
Д. О. ГЛИКМАНА



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
„ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА“  
МОСКВА 1935

✓

Литература

81 21

С. И. П. И.

С. И. П. И.

1892

Ю Л И С



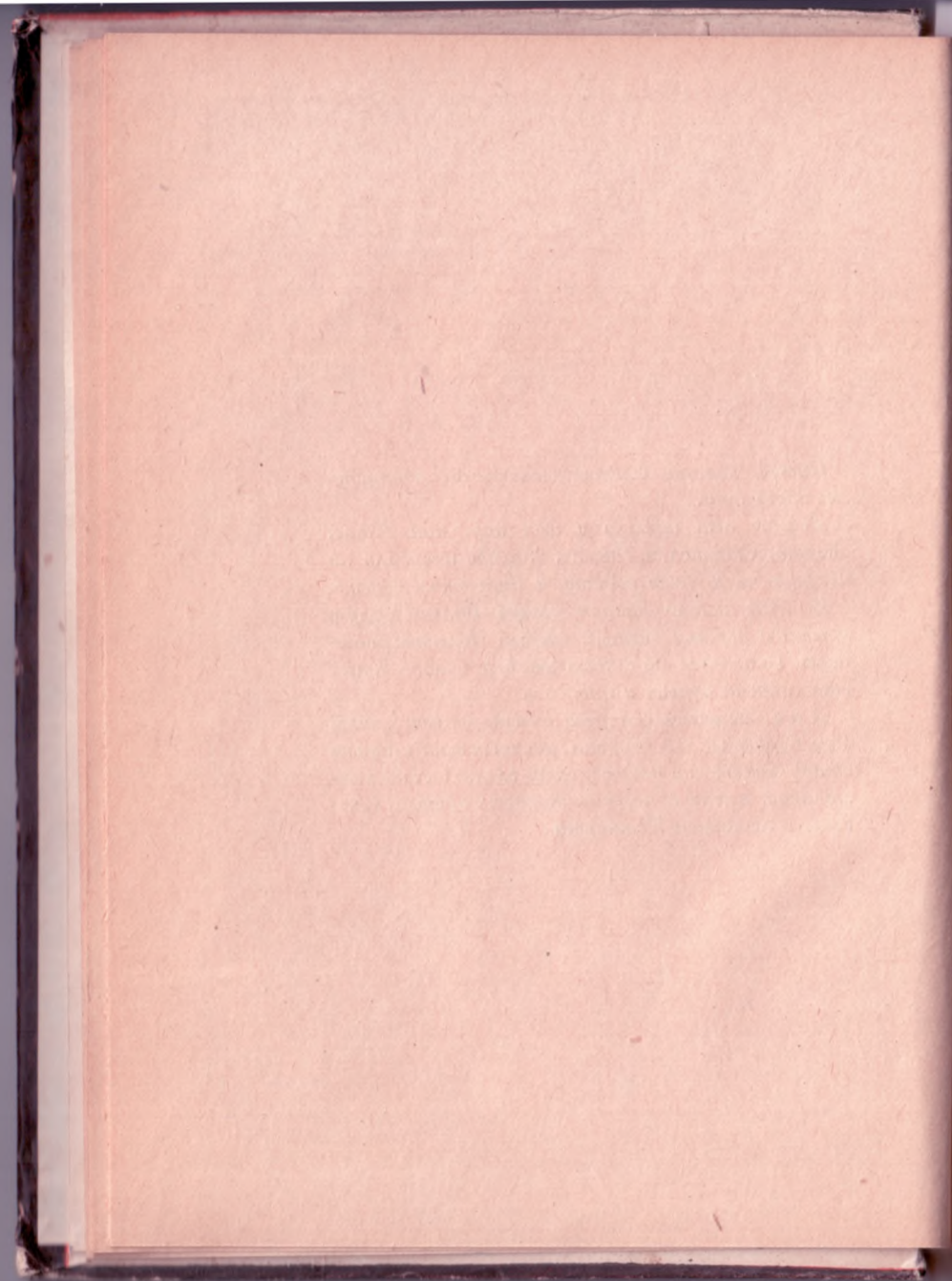


Пятое января тысяча девятьсот двадцать девятого года.

Десять лет прошло с тех пор, как Юлис, Людви, Станислав, Янкель, Хаимке прервали на четыре часа свою работу в Виленском совете.

В день пятого января улицы Вильно будут усыпаны первым чистым снегом. Польские легионеры затопчут его тяжелыми сапогами,— белый снег станет бурым и грязным.

А я с бьющимся сердцем, юными руками удалю эту бурую грязь. Широко раскрытыми глазами стану искать на чистом снегу следы шести коммунаров, имена и подвиги которых кратко занесены в летописи Истпарта...



ГЛАВА ПЕРВАЯ  
ПУТЬ, ВЕДУЩИИ К ЮЛИСУ

Брат! Даль разъединяет нас, и я даже не уверен в том, что пишу живому человеку, а не мертвецу. С ранних лет ты был для меня скорее тоской по брату, чем действительностью. Я тосковал по тебе, но не знал тебя.

Твоя жена и ребенок все еще живут на Тверской улице. Ты оставил в Москве замечательного мальчугана. Но горестная забота томит твою жену: она не знает, какое имя дать сыну. Если бы она была уверена, что ты погиб за рубежом, она дала бы ребенку твое имя.

Твой сын будет строителем. С утра до поздней ночи он строит из деревянных брусков дома и хижины, мосты, ворота... У него есть прекрасная модель: против его окна заканчивают постройку огромного дома. Многоэтажная громадина захватила четыре квартала.

Вечерами, когда последние лучи солнца сверкают на телеграфных проводах и на трубах старых домов, леса вокруг дома похожи на прозрачную воздушную сеть.

В зимние сумерки, когда Тверская зажигает огнями свои широкие окна, выбрасывая горстями эле-

ктрический свет в желтоватое пространство улиц, когда затвердевший на морозе снег скрипит под ногами,— люблю я смотреть на бесконечные лестницы, переходы, балки и мостики причудливо переплетающихся лесов. Они тянутся к морозному небу, взбираются правильными геометрическими фигурами выше и выше, и кажется, что облако, надвое разрезанное балкой, повисло на ее ребре... Я знаю, что скоро вся эта деревянная вязь лесов будет сброшена в снег и грязь, и тяжелый железобетонный корпус будет свысока смотреть на груды сваленного леса. Но пока еще железобетонные стены не готовы,— властвует дерево.

Такие же фантастические узоры я часто видал на стеклах нашего старого дома: двадцатиградусный мороз рисовал на стекле леса и города, озера и моря, дороги и людей.

Вчера я долго сидел у твоей жены. Она все еще любит тебя, эта простая девушка из виленского предместья. Ты встретил ее впервые в те дни, когда польские легионеры окружили Совет.

Мы сидели вдвоем у окна, глядели на строящийся дом и говорили о тебе, о Юлисе, и о тех незабываемых днях.

Вот уже год, как мною владеет мысль отыскать друзей и товарищей Юлиса, письма, снимки, документы и написать о нем книгу. Но чем больше я вникаю в собранный материал, тем яснее вижу, как схожа жизнь Юлиса с моей, твоей и сотнями, тысячами жизней нашего поколения.

Знаешь ли, Самуил: еще будучи в Вильно, я хотел рассказать тебе, каким образом я узнал, что у меня есть брат.

Ты ушел из дому совсем молодым. Меня тогда еще

и на свеге не было. Дома о тебе говорили очень редко. Но часто мама сидела согнувшись у окна, устремив глаза в даль... И посиневшие губы ее тихо шептали:

— Сын мой... дитя мое... Шмулик мой дорогой!.. Куда судьба занесла тебя?..

Подходит вечер пятницы. Солнце садится медленно и, утомленное, ложится за забором... Долгий летний день оно шаталось по суетливым базарам и улицам. Теперь оно отдыхает усталое и бледное. Большой двор затих, точно дремлет. Доба, жена сапожника, усевшись на крылечке, расчесывает волосы семилетней дочурке. Они давно нечесаны и спутаны: тонкие белые зубья гребешка рвут белокурые пряди и ломаются.

Девочка плачет... Дикий крик ее разрывает тишину. Ребенок тычется головой в грудь матери. Лицо Добы краснеет от гнева. Нижняя губа отвисла. Голова в белом праздничном платке упирается в жестяную вывеску сапожника. Вывеска пожелтела от времени, и у намалеванного на ней сапога не хватает половины голенища. Когда голова Добы прижимается к вывеске, кажется, что сапог наполовину вошел в ее плечи и пригибает ее все ниже и ниже к плачущей девочке. Ребенок не может вытерпеть боли и, вырвавшись из рук матери, убегает со спутанными волосами в дальний конец двора.

Доба поднимает склоненную голову и замечает у ворот незнакомого человека.

Пришелец бродит по двору. Несколько раз подходит к дверям синагоги и, постояв, возвращается к поротам. Старые ворота, повисшие на двух ржавых, скрипучих железных петлях,— точно сломанные крылья...

Вошедший во двор незнакомец не был, повидимо-

му, местным жителем. На плечах его болталась широкая суконная пелерина, поддерживаемая на груди двумя узкими перехватами накрест. На голове — мягкая шляпа с широкими полями. Приподнимая шляпу, чтобы вытереть вспотевший лоб, он открывает длинные, зачесанные назад волосы.

Добе не сидится на крылечке. С трудом переваливая свое тучное тело, она подходит к воротам и небрежно спрашивает:

— А кого, молодой человек, вы ищете?

Пришелец кинул взгляд на дворника, сгребавшего мусор с улицы, и неохотно ответил:

— Мне нужно к Ноях...

— К Ноях-Менделю? — подсказала Доба. — Вон там... видите деревянную избу?..

Незнакомец встревожился: не вздумает ли, чего доброго, эта толстая женщина проводить его?

— Знаю... Знаю... Я не раз уже бывал здесь... Ничего особенного. Мне только привет передать. Спасибо.

Доба подозрительно оглядела незнакомца и пошла назад, к низенькому крылечку. Незнакомец направился к маленькой избушке, приютившейся в углу двора. Он шел торопливо, и полы его широкой крылатки неслись за ним, развеваясь, как рогожный хвост у бумажного змея.

Пришелец остановился на пороге.

У стола, сливаясь с белой субботней скатертью, сидела мать. Маленькая, худая женщина, с лицом, на котором пережитое горе ведет счет по глубоким морщинам. Но серые глаза были еще молоды и блестели, точно она только что помазала их маслом.

Она оторвалась от скатерти и остановилась перед пришельцем. Со скрытым испугом спросила:

— А? Кого вам надо?

— Здесь живет Ноях-Мендель?

— Да, да... здесь. Это — мой муж. Он сейчас войдет. Посидите.

— Ничего. Я принес вам письмо от сына. От Шмуэля. Не пугайтесь, — он здоров.

У матери, точно от удара, качнулась голова.

— Что? Что? Письмо от Шмуэля? Какого Шмуэля?

Оглушенная вестью, она смолкла. Шатаясь, пошла к столу и вернулась, таща за собой стул.

— Садитесь... Сидите... Письмо от Шмуэля?

Внезапно побледнела... Глаза расширились и наполнились тревогой. С минуту она пристально глядела на незнакомца, потом бросилась к нему и обхватила руками его шею с радостным воплем:

— Мой сын... дитя мое... Ты жив!

Пришелец — высокий, смуглый человек... Большие, черные, глубоко сидящие глаза выражали полную растерянность. Мать, как маленький ребенок, повисла на его шее. Он бережно держал в руках тщедушное тело и тихо бормотал:

— Извините... простите... Я — не ваш сын. Я только принес от него письмо. Я — не сын ваш...

Похолодевшие руки матери бессильно упали с чужих плеч. Ее глаза широко раскрыты, но ничего не видят. Она опускается на стул и говорит, точно в бреду:

— Мой сын... Мой Шмулик... Ты пришел. Бэишь-ся сразу открыться мне?.. Не бойся... Я спокойна...

Она не решалась приблизиться к незнакомцу: ее пугала его сдержанность. Незнакомец извлек из бокового кармана маленький открытый конверт и положил его на белую, субботнюю скатерть.

— Простите, что я так напугал вас. Я, действительно, очень похож на вашего сына... Спокойной ночи! Перед отъездом я к вам зайду.

Мать не отвечала. Сидела посреди комнаты, не сводя глаз с закрывшейся за незнакомцем двери.

Я выскользнул из дому, вбежал, запыхавшись, в синагогу и среди дюжих грузчиков разыскал отца.

— Татэ! Татэ!<sup>1</sup> Пришел чужой... в пелерине... Мама кричит «Сын мой!» А он говорит, что нет... Пойдем домой.

Отец стоял неподвижно и молился, повернувшись лицом к стене. Отец — высокий, сутуловатый еврей, с длинной рыжей бородой и черными злыми глазами. Он осторожно отстранил меня, отступил на три шага назад, качнулся вправо, влево<sup>2</sup> и невозмутимо ответил:

— Не горит... Сейчас иду.

Мы с отцом вошли в дом. Мать сидела у стола, вертя в тонких пальцах письмо. Она не заметила нашего приближения. Затуманенными глазами глядела на кривые еврейские буквы письма, ничего не разбирая.

Отец вымыл руки... Взял из рук матери исписанный листок. Молча отошел к комоду. Напялил очки на мясистый, испещренный синими жилками нос и приступил к чтению.

Долго читал про себя. Лицо его с каждым мгновением становилось напряженнее и мрачнее. Высокий лоб избородили глубокие морщины. Отсвет трех свечей, горевших на столе, придавал его рыжей бороде красный оттенок.

<sup>1</sup> Отец.

<sup>2</sup> Телодвижения, предписанные ритуалом при окончании главной молитвы.

Мать точно приросла к белой скатерти. Ее голова повернута к маленькому скрипучему комоду и высокому рыжему еврею, что стоит, согнувшись, над листком бумаги, неподвижный и немой...

Не выдержав напряженной тишины, мать громко всхлипнула:

— Разбойник!.. Скажи хоть слово! Двенадцать лет ничего не слышали о ребенке, а он...

Она не договорила, залилась тихим плачем. Отец сложил письмо, положил его на комод и подошел к плачущей матери.

— Чего расхныкалась? Глупая! Шмуэл жив.

В его скупых словах и сухом голосе звучала глупая нежность. Мать почувствовала это и стала смелее.

— Ноях!.. Сердце говорит мне, что с мальчиком случилось несчастье. Где он? Скажи хоть слово!

От волнения отец перебирал пуговицы черного потертого сюртука, шарил по груди, но из-за заросших губ слова падали холодно и скупно, словно он говорил о будничных пустяках:

— После субботы надо будет поехать в Варшаву... Он там... в Варшаве... в цитадели...

Мать не понимала. «Варшава», «цитадель»... Слова, как раскаленные иглы, вонзались в мозг, в тело... Ее голова склонилась к белой скатерти, и плечи задрожали от плача.

Отец растерялся. Сел возле матери:

— Генэ! Генэ! Глупости!.. Слушай, что он пишет.

Торопливо подойдя к комоду, он взял письмо, развернул его и начал читать деревянным голосом:

«Отец! Я знаю, что ты сердит на меня за двенадцатилетнее молчание, а еще больше — за мой са-



мовольный уход из дому. Но теперь не время говорить об этом.

За двенадцать лет я перебивал во многих странах, редко засиживаясь в одном городе больше трех-четырех месяцев. Я стал революционером-ски-тальцем. Быть может, этим и объясняется мое долгое молчание. Как поживает мать? Она, вероятно, уже забыла, что у нее был когда-то шалунишка сын Шмулик... Вот уже два года, как я сижу в Варшавской крепости. Мой защитник не раз предлагал мне написать вам, вызвать вас сюда, чтобы установить, что я — ваш сын. Я не сделал этого до сих пор: мне было мучительно тяжело после одиннадцатилетнего молчания, после всего того, что произошло между нами до моего ухода из дому, обращаться к тебе за помощью. Но сейчас у меня нет иного выхода: меня ждет петля. (Отец проглотил последние слова, как беззубый старик проглатывает кусок черствого хлеба.) Меня обвиняют в убийстве начальника варшавского жандармского управления. Все улики направлены против некоего Юлиса Шимелевича. Я проживал последнее время по чужому паспорту, который у меня при аресте отобрали. По нему я значусь: Бер Розов, сын варшавского бакалейщика. Жандармерия заподозрила, что я скрываюсь под чужой фамилией. Дважды вызывали моих мнимых родителей, и дважды те отказывались признать меня своим сыном... На последнем допросе я признался, что паспорт куплен мною во Франции перед возвращением в Россию. Я объяснил, что приехать на родину под своим настоящим именем — Шмуэл Меерович — я не рискнул, потому что бежал из России от воинской повинности. Если вам нетрудно, приезжайте и установите, что

я — ваш сын и бежал из России от военной службы».

В мозгу матери сплетались чужие, незнакомые имена. Кто такие Шимелевич, Бер Розов, начальник жандармов? Какое отношение имеют они к ее сыну, к ее Шмулику? Но одно для нее отчетливо, ясно: случилось большое несчастье, и нужно спешить в Варшаву — спасти сына...

Ужинали молча и торопливо. Отец обращался с нами мягче обычного. После ужина он с матерью остались за столом, и отец снова прочел вслух письмо от начала до конца. Обо мне и сестренке забыли. Я сидел в уголку, притаившись, никем не замеченный.

Три свечи в медных подсвечниках бросали таинственные тени на стены. В комнате тихо-тихо... Слышен только глухой, надломленный голос отца.

Голова матери все ниже и ниже склоняется к белому листу бумаги. Взгляд ее впивается в обросшие губы отца: ей кажется, что он обманывает ее, читает не то, что написано в письме...

Вся комната точно насыщена тревогой... Две голы качаются на стене над низеньким комодом: одна высокая, остроконечная, в измятой бархатной ермолке; другая — маленькая, с выбившимися на висках прядями.

И последние мерцания угасающих свечей сплетают для меня причудливую сказку о брате, которого я никогда не видел. Где-то, в далеком городе, в неизвестной мне Варшаве, сидит он теперь за тяжелыми тюремными запорами.

— Завтра нужно ехать в Варшаву, — говорит вдруг отец.

— А на кого оставить дом?

— Сын дороже...

Субботние свечи не хотят догорать. Черные, обгорелые фитили плавают в тающем воске. Огонь их желтеет, тускнеет, в последний раз вспыхивает с внезапной яркостью и сразу угасает...

Теперь на комодe коптит маленькая лампочка. Она чертит вокруг себя круг тусклого света, окутывая тенью всю комнату... Всю ночь она простоит неподвижно. Медленно, по капле, огонь будет высасывать керосин из синего резервуара и, исчерпав весь запас, погаснет.

Никто из нас, брат, не спит в эту ночь, кроме твоей пятилетней сестренки. Все лежат с открытыми глазами и говорят о тебе...

Кровати у нас широкие, с черными полированными спинками. На спинках — причудливые рисунки. Когда смотришь на них долго, прищурившись, кажется, что перед тобой густой ветвистый лес со множеством зверей. В действительности, рисунок очень прост: прямые стволы, от которых по обе стороны идут тонкие ветви...

Призыв отца блуждает по комнате, ищет кровать матери... не находит и замирает.

— Генэ! Генэ!

Мать молчит. И кажется, спинки кровати отвечают, всхлипывая:

— Разве я не понимаю, что с мальчиком плохо?

На исходе субботы они выехали в Варшаву. Отец в своем черном суконном сюртуке; мать — в субботнем платье...

Наш отец не любил говорить. Всю дорогу, наверное, стоял он у вагонного окна, прижавшись горячим лбом к стеклу. Когда стало тяжело смотреть на огромный

круг закатного солнца, бежавшего за поездом, как верный пес за хозяином, отец отошел от окна и шагал взад и вперед по вагону. Ступал медленно и тяжело. Его сутулая спина еще больше согнулась и не хотела выпрямиться. Бессонная ночь разбросала по его рыжей бороде много серебряных нитей, как первый снег в солнечный зимний день. Под усталыми глазами легли синие круги, точно следы тяжелых колес на песчаной дороге.

Отцу хотелось должно быть спросить у кого-нибудь из пассажиров адрес варшавского прокурора. Подойти бы запросто к одному из этих незнакомых евреев, взять его за борт сюртука и спросить:

— Не знаете ли, где живет в Варшаве прокурор?

Но отец ни о чем не спросил. Сутулясь, вернулся к окну. Глядел, как долгий летний день склоняется к вечеру, и думал о тебе, своем первенце... Пассажиры удивленно с уважением глядели на поникшего рыжебородого еврея, так долго и сосредоточенно молчавшего в одиночестве... Они шептали друг другу:

— Должно быть, большое горе у этого рыжего еврея!

Меня с сестрой оставили сторожить дом. Ей пошел пятый год, мне — восьмой.

В извозчичьей моельне на нашем дворе происходили ежевечерние тайные массовки. Наши соседи, заперев на ночь двери и ставни, уходили к родственникам на отдаленные улицы. Соседи хорошо знали, что, в случае провала собрания, они поплатятся тремя годами тюрьмы за то, что не донесли властям. Мы, дети, этого не знали. Прильнув к окну, мы смотрели,

не отрываясь, как вечернее солнце скользит по железной крыше. Дом на противоположной стороне окрашивается в темно-коричневый цвет, и тень невысказанной печали окутывает его... Солнце перед закатом зажгло стекла дома и они горят ярким, пугающим пламенем.

В извозчицкой молельне не зажигают огня. Ораторы говорят в темноте. Изредка вспыхивает спичка и тотчас гаснет.

Обрывки слов долетают до нас, и нам кажется, что говорят стены. Нам становится еще страшнее. Мы забываемся в угол широкой кровати, прижимаемся к полированным спинкам.

Неожиданно входит тетя Сарра. Долго молча бродит по комнате, отыскивая спички. Наконец, находит, зажигает лампу, вешает ее на крепкий гвоздь в стене, дает нам поесть, прикручивает фитиль и уходит с успокоительными словами:

— Спице, детки! Завтра, имирцешем<sup>1</sup>, они приедут...

Мы не понимаем значения слова «имирцешем»... Тетя Сарра — грузная женщина, с отчетливыми усиками под длинным острым носом. Она никогда не смеется. Мы ее терпеть не можем и тотчас по ее уходе забываем, что она здесь только что была.

Из извозчицкой молельни расходятся поодиночке и крадучись. Ночь уже обволакивает двор. Мы лежим с открытыми глазами и рассказываем друг другу сказки о тюрьмах, виселицах и героях. У нас дома много таких сказок рассказывали о Менделе Дейче, о Саше Аптер и других... Но наши детские головки

<sup>1</sup> И м и р ц е ш е м — искаженное в просторечьи древне-еврейское выражение, означающее «Если бог захочет».

были полны мыслями о тебе, брат, и все легенды тех лет сплетались с твоим именем.

Что произошло в Варшаве? Я точно не знаю. Знаю только, что по пути из Варшавы в Сибирь ты бежал, перешел границу и на многие годы исчез из России.

Я встретился с тобой много лет спустя. Ты приезжал тогда с группой эмигрантов из Франции. Юлис пришел из армии, я — с чужбины, Урала.

Юлис в то время уже работал в Еврейском комиссариате. Он, как ветер, метался из Смоленска в Витебск, из Орла в Гомель, организуя коммунистические секции и вооруженные рабочие дружины.

Как-то в один из вечеров Юлис рассказал нам о некоей Анне Богданович, собирающей отряд на помощь Вильно.

Я встретился с ней случайно в 1926 году на Минской улице. Среди уличного шума и грохота колес в суетливую толпу упало имя:

— Анна!

Она остановилась.

Ее глаза все еще горели огнем молодости, и волосы серебрились, как прежде. Кожа на лице преждевременно пожелтела, и две глубокие морщины прошли поперек широкого лба и укрылись в серебряных волосах. Она слегка пополнела, но не потеряла прежней легкости движений. В темных глазах была та же былая озабоченность, точно давно-давно, много лет назад, она потеряла что-то очень дорогое и все еще ищет его...

Что она делает теперь?

Как живет?

Я не знал ничего... Наша встреча была очень краткой.

Анна спросила:

— Что вы делаете здесь?

Я ответил:

— Собираю материалы... Пишу трагедию о Виленском рабочем Совете.

Анна вздрогнула. Тень прошла по ее смертельно-бледному лицу. Она крепко сжала губы, точно боялась испустить вопль старой, забытой боли. Ей стало тяжело.

Я ухватил ее за руку:

— Анна, Анна, не уходите! Расскажите мне все., Ведь вы вели отряд на Вильно. Людвиг был близок вам!

Она прервала меня:

— Довольно! Я ничего не скажу... Материалы имеются в Истпарте...

Она протянула мне холодную, как лед, руку и хотела было уйти. Но остановилась. Лицо ее снова стало спокойным, и только в глубине глаз светилось страдание. Она подошла совсем близко ко мне и дружески-доверчиво проговорила:

— Есть вещи, о которых слишком тяжело говорить. Зайдите в Истпарт. Там есть все материалы.

Она ушла, выпрямившись, с высоко поднятой головой, точно хотела показать, что наша встреча не произвела на нее сильного впечатления.

Я долго глядел вслед высокой, стройной фигуре. Она исчезла в переулке. Я побрел в Истпарт.

Есть в городе маленькая затерянная боковая улочка. И днем и ночью на этой улочке царит дремлющая тишина... Редко встретишь здесь прохожего.

Два дома переглядываются там друг с другом, как старые знакомые.

Один — свежевыкрашенный, желтый, со множеством широких светящихся окон, — дом ГПУ.

Против него дремлет на солнышке дом Истпарта. Скромный, простенький домик. Жестяная вывеска одним коротеньким словом оповещает, что за этими тихими белыми стенами хранится бурная история партии.

Внутри, вдоль белых стен, стоят длинные столы, покрытые толстым прозрачным стеклом. Под ним лежат усталые, пожелтевшие документы.

Десятки лет пролежали они в подпольях, на гонимых чердаках, в шкафах царских департаментов... Буквы на пожелтевшей бумаге потускнели и стерлись, как следы ссыльных на Сибирской дороге.

Когда закатное солнце зажигает кроваво-красным заревом широкие окна и сумрак обволакивает дома, прозрачные стекла на столах сверкают, как скальпели, и комната напоминает хирургическую операционную...

Погибшие революционеры не могут больше вылезти скуки этих тихих зал, они рвутся из тяжелых золоченых рам,— и опять этот скромный зал оживает отзвуками прошлого, и опять кричат пожелтевшие документы о ссыльных годах и былых боях.

Среди документов лежит и письмо Юлиса. Толстое стекло защищает от воздуха и пыли кривые нервные строки.

Сколько раз глядел я на эти строки и думал о том, что Юлис не написал перед смертью ни слова о себе самом и своих переживаниях!

Возле меня стоит сотрудник Истпарта. Бесцветными глазами следит он за тем, как я переписываю письмо Юлиса. У сотрудника Истпарта — большая голова, всегда наклоненная вперед. Много лет назад он надорвал голос на митинге и до сих пор хрипит, как простуженный.

До революции он был прессовальщиком в Амери-



ке. Ему и во сне не снилось, что со временем он будет целыми днями рыться в запыленных книгах, в истрепанных документах, разыскивая затерянные следы первых еврейских большевиков.

— Горячий парень был Юлис.

— Откуда вы знаете?

— Я написал его биографию.

— Читал.

— Вы используете ее?

— Конечно.

— А письмо?

— Тоже.

— В письме содержатся только сухие факты, а вас ведь интересуют внутренние переживания — психология ваших героев.

— Я полагаю, что психология Юлиса воплотилась в действие, в работу, а здесь, в этом письме, запечатлено самое интимное, самое важное — то, чем жил Юлис в тот бурный год...

— А зачем вы пришли ко мне? — прервал меня сотрудник Истпарта.

— Я хочу рассказать вам об Янкеле Марате. Он — один из шести, погибших в Совете.

Историк забыл про свое грузное, неповоротливое тело. Вскочил со стула. Его бесцветные глаза загорелись любопытством.

— Вы имеете сведения об Янкеле Марате? Документы? Письма? Вот уже два года я пытаюсь дознаться: кто он был?

— Он был простым грузчиком. В городе на него смотрели с насмешливым пренебрежением, как на юродивого. Он перечитал всю городскую библиотеку и был одержим анархическими идеями. Фактического материала о нем у меня нет. Я знаю только путаную

историю о путаном человеке. Если у вас есть свободное время, я готов рассказать.

— Нет, это меня не интересует! — хрипло засмеялся историк, и глаза его снова потухли.

Меня вдруг охватило неодолимое желание: итти, итти до изнеможения, до боли в ногах, до головокружения.

Часто обуревают меня такое желание. Оно гонит меня на улицы города, в незнакомые уголки предместья, где я брожу долгими часами.

Прости меня, брат, что я перегружаю твое внимание частностями, не имеющими прямого отношения к истории Виленского совета, к Юлису, к моей второй встрече с Анной Богданович. Но мне очень трудно уложить историю того дня в рамки обычного письма.

То был сумбурный день. Я смертельно устал от бесцельного шатания по минским улицам, площадям, рынкам, бульварам.

Дважды я побывал на вокзале. Поезда приходили и уходили. Я стоял в конце длинной очереди у кассы, собираясь купить билет до Москвы, и в последний момент, уже добравшись до самого окошечка, передумал. Быстрыми шагами прошел к мосту на Комаровской дороге, точно меня ожидало там нечто очень важное.

В глубине двора, скрытый от улицы густыми вишневыми деревьями, стоит зеленый деревянный домик. У этого домика я снова встретился с ней...

Случайность? Нет! Она проезжала в пролетке, к себе на дачу, а я сидел на скамейке, думая о зеленом домике.

Этот маленький домик мог бы многое порассказать.

Там, внутри, вдоль стен, стоят красные старомодные кресла в белых чехлах. Но никто не сидит в них.

Иногда сюда заглядывает группа рабочих либо студентов. Тогда у дверей зеленого домика звучат бодрые молодые голоса. Навстречу им выходит старушка с морщинистым лицом и гладко зачесанными волосами. Не спеша открывает дверь и тотчас начинает монотонно рассказывать давно заученную историю:

— Да, товарищи, здесь происходил первый съезд социал-демократов. Ждали Ильича, но он не приехал. Вон в том среднем кресле сидел Радченко. Крестьяне со всей округи сходились к нему поговорить о своем житье-бытье. А на том крайнем стуле сидел Крамер. Он был тогда еще очень юн. Много лет прошло с тех пор, но я помню их всех... Как живые, стоят они передо мною...

Над креслами висят портреты участников съезда. Портреты новые, увеличенные, как-то неуверенно держатся на стене... Когда долго смотришь на них, начинает казаться, что эти девять человек в черных рубашках и студенческих тужурках только что вышли из подполья. Они все еще не могут привыкнуть, что живут, наконец, здесь под своими настоящими именами...

Старушка стоит в уголку. Лицо ее оживилось, в морщинках змеится улыбка. Она говорит без умолку, путая имена и даты. По ее исчислению выходит, что со времени первого съезда прошло всего двадцать лет: ей тогда было сорок, а теперь — шестьдесят.

Экскурсанты не решаются громко говорить, чтобы не нарушить тишины комнаты, где морщинистая старушка хлопочет у кресел, в которых сидели когда-то основатели партии.

Выйдя на улицу, экскурсанты останавливаются, удивленные и восторженные. Долго смотрят они на

зеленый домик, на золотые буквы мемориальной доски, на широкую песчаную дорогу, ведущую к маленькому белорусскому местечку — Острожицкому Городку. И не верится им, что они только что побывали в той самой комнате, где тридцать лет тому назад родилась российская социал-демократия.

Мраморная доска ли на зеленой стене привлекла мое внимание? От усталости ли я сел на скамью у пыльной дороги?.. Не знаю.

Анна остановила пролетку, расплатилась с извозчиком и быстрыми шагами направилась к моей скамье, точно мы сговорились встретиться здесь.

— Хорошо, что я вас встретила... я вспомнила потом: ведь вы брат Либерта... Вы и Юлиса знали? Пойдите... а Людвига?

Вопросы сыпались один за другим быстро, без перерывов, точно весь день они висели у нее на языке, и теперь ей хотелось сразу освободиться от них.

Я молчал. Я так устал, что мне было безразлично, будет ли она говорить или молчать.

С минуту мы сидели молча, как незнакомые. Зажатное солнце золотило последние крестьянские возы, купалось в дорожной пыли.

Анна поднялась со скамьи:

— Пойдемте! Я живу недалеко отсюда. Не больше получаса ходьбы.

Дневная жара спала... По обеим сторонам дороги тянулись сады. Длинные ветви, усеянные спелыми, налитыми яблоками, свешиваясь через невысокие заборы, бросали тень на дорогу. Солнце зажгло золотом край неба, деревянные крыши, деревья и утогло в вечернем сумраке.

Глядя себе под ноги, Анна тихо заговорила:

— Понимаете: у меня имеются две биографии.

Одна — в десятках анкет и документов — следует за мной из учреждения в учреждение, из города в город. Вторая лежит за семью замками. Всякий раз, когда кто-либо пытается заглянуть в нее, я начинаю ее прятать. Сегодня много думала об этом и пришла к заключению, что это — глупо.

— Да, пожалуй, — согласился я и снова смолк.

Ночь надвинулась. Навстречу нам шла реденькая березовая роща. Ближе и ближе подходила к нам, и дерево казалось нам человеком, ветвь — его рукой, а вся роща — отрядом солдат в светлых шинелях.

Анна вдруг засмеялась.

— Чему вы смеетесь, Анна?

— Я вспоминаю, что семилетним ребенком я была уже профессиональной труженицей.

— Не понимаю.

— Сейчас поймете. Слишком долго рассказывать о моих детских годах, да это и не интересно. Я родилась в глухой польской деревушке под Седлецом. До семилетнего возраста я, как все крестьянские дети, валялась в песке у речки, пасла нашу единственную тощую корову. А в семь лет у меня появилась «профессия»: я стала подругой панской дочки.

Она была избалованная, капризная девчонка. Я была взята в дом, как живой образец нормального поведения: у меня ребенок должен был учиться есть, пить, спать, играть, готовить уроки. Пять лет продолжалась моя служба.

Бешенство охватывает меня при воспоминании о тех «счастливых» годах моего детства! Один эпизод из того времени я буду помнить до могилы.

Бал у помещика. Замок залит огнями. Из всех окрестных имений съехались гости. Из шкафов вынули все фамильное серебро. Стол сверкал хрусталем. Оша-

лелые лакеи носились из кухни в столовую и обратно.

Гости были уже навеселе. Дамы украдкой позевывали от скуки. Тогда на сцену вывели меня.

На мне было голубое тюлевое платье. На голове — корона из золоченой бумаги. В руки мне дали деревянный меч, оклеенный серебряной бумагой.

Огни были потушены. Оставлена одна лампа, едва освещавшая импровизированную сцену.

Я декламировала стихи Мицкевича. Я не замечала красных, пьяных лиц собравшихся помещиков, ни потеющих дам. Мой голос окреп и наполнял огромный темный зал.

За кулисами стоял сам пан. И прежде, чем зал снова осветили, он увел меня в детскую и строгонастрого приказал мне в этот вечер не появляться больше перед гостями. Но я не вытерпела: прокралась к ярко освещенным окнам и заглянула в зал.

Панская дочка гордо расхаживала среди гостей. У нее был вид победительницы. Ее качали, ей аплодировали, восхищались ее талантом. Она была одета точь в точь, как я: голубое тюлевое платье, золотая корона, деревянный меч, оклеенный серебряной, бумагой. Даже волосы были зачесаны так же, как у меня.

Теперь я понимаю, что это была не самая сильная из обид, нанесенных мне за те пять лет. Пан-помещик просто хотел похвастать своей придурковатой дочкой. Однако я до сих пор не могу успокоиться. Всякий раз при воспоминании об этой сцене кровь закипает во мне.

Но довольно об этом! Вы хотите услышать о Людви́ге? Ведь ради этого вы сегодня остановили меня на улице?

После моего ухода с отрядом из Минска там говорили, что в Вильно живет мой муж. Это верно. Но одно обстоятельство осталось рассказчиком неизвестным: я никогда не видала его в глаза. Десять лет мы были женаты, и ни разу я не видала его лица. Вы удивлены? Это — простая и недлинная история.

В тысяча девятьсот седьмом году я сидела в варшавской тюрьме. В соседней камере сидел Людвиг Януковский. Имя его я узнала сквозь стенку. Оно мне было знакомо и до того: Януковский был очень популярен среди крестьян Седлецкой губернии.

У него были сильные пальцы: стук в стенку доходил до меня отчетливо. Дни и ночи, ночи и дни мы переговоривались, стуча друг другу.

О чем?

О нашем детстве, о юности, о крестьянских восстаниях, которыми он руководил. Часто он рассказывал мне фантастические сказки, которые сочинял для меня, лежа на нарах... Мне было тогда девятнадцать лет!.. Теперь уж как-то трудно так бездумно говорить о будущем: теперь пора Советов, заседаний, кампаний. Но тогда социализм еще был окутан туманами, был далеким видением, и я могла долгими часами рисовать себе и Януковскому картины будущего...

А может быть, виной тому были мои девятнадцать лет и бессонные ночи...

Мы полюбили друг друга.

После двухнедельного тяжелого труда мы продолжили стену под нашими нарами.

Помню, как теперь. Несколько часов под ряд, лежа на полу, мы бросали в узкую темную щель стены наши слова... Но они не могли унять разбушевавшуюся

ся кровь. Тогда с огромным трудом мы просунули в щель руки, и всю нашу любовь и тоску влили в горячие пальцы. Потом, обезумев от счастья, стали сильно стучать в соседние камеры.

Тюрьма безмолствовала. Долго прислушивалась она к бешеному стуку и, наконец, поняла, что Людвиг Януковский и Анна Богданович «обвенчались».

Толстые стены варшавской тюрьмы не привыкли к таким вестям.

Долгое время они молча поглощали наши беспорядочные стук и, наконец, разразились громким хохотом. Да, стены смеялись! Так казалось нам. Припав ухом к стене, мы принимали поздравления. Откликались все: камера за камерой, этаж за этажом. В двенадцатой камере сидела моя близкая подруга — Лия Фельдман, рыжеволосое, добрейшее существо. Она знала, что я люблю цветы. Ее поздравление гласило:

«Посылаю тебе полную корзинку цветов и целую тебя и Людвига крепко-крепко!..»

Что произошло потом?

Месяц спустя Людвиг бежал из тюрьмы, перешел границу и стал политическим эмигрантом. А меня отправили в ссылку.

Анна смолкла.

Тяжелый клубок подкатился к ее горлу. Отвернув голову, она с усилием проглотила его.

— Больше мне нечего сказать вам. До войны я получала от Людвига письма... У нас был готов план: я должна бежать в Омск, где он должен был ждать меня с паспортом и платьем. Война разрушила этот план. Только в семнадцатом году я узнала, что Людвиг — в Вильно. Все, что было дальше, вы знаете...



Анна порывисто подала мне руку и исчезла за калиткой своей дачи.

Я медленно побрел домой. Должно быть, на небе висела полная луна, потому что на дороге было светло, как днем. Но я не замечал неба. Мой взгляд ушел в прошлое — в восемнадцатый год. Я весь отдался воспоминаниям о моей первой встрече с Анной в военкомате.

Брат, ты помнишь Минск в тот год?

Уличные митинги, собрания, резолюции. Вернувшиеся на родину военнопленные, остатки разных полков, дивизий, армий. Польские, русские, немецкие банды за городом. Голод, холод, песни, аресты в городе.

И над всем этим хаосом людей, автомобилей, песен — неумолкающий лозунг:

— Да здравствует Литовско-Белорусская Советская Республика!..

И второй:

— На Вильно!

Анна Богданович тогда только что прибыла из Питера. Она была в шинели из грубого сукна, в полотняных обмотках, в широких желтых ботинках, подбитых железными гвоздями...

На одной из улиц Минска стоял невысокий дом с облезлыми стенами и разбитыми стеклами.

Внутри дома: деревянная скамья со сломанной спинкой, мягкий, с бархатной обивкой, до дыр просиженный диван. На стене — телефонная трубка. Выше, над телефоном, икона божьей матери, а еще выше — Карл Маркс со вздернутым носом и коротко подстриженной бородкой.

Люттик, поляк, деревенский парень, не представлял себе Карла Маркса: он вздернул ему нос и под-

стриг бороду, сделав его похожим на крестьянина из родного села.

Называл он его: «Карл Марц».

Всю ночь Лютик стоит у дверей облезлого дома. Каждый входящий предъявляет ему именной пропуск. Лютик накальвает эти лоскутки бумаги на свой штык. Без пропуска он не пропустит никого: так приказала товарищ Богданович.

А Анна — точно приросла к стене, к телефону, к деревянной скамье со сломанной спинкой.

— 5-55?

— Слушаю.

— Кто?

— Богданович.

— Центральный совет профсоюзов мобилизовал десять процентов своих членов.

— 5-55?

— Военкомат.

Анна пишет:

...«В Смоленске сформирован красногвардейский отряд под командой Петра Лопатьева».

Ненастной ночью гудят провода междугородного телефона:

— 5-55?.. Во...ен...ком...ат...

Черная туча ливнем обрушилась на город. Мокрые провода, вздрагивая от холода и сырости, несли в даль телефонный номер от изолятора к изолятору, от столба к столбу, и снова звенели в слякотную осеннюю ночь:

— 2-70. Тов. Рейкес.

— 3-35. Тов. Даукша.

— 1-17. Тов. Димант.

Черная трубка кричала:

— Сегодня в 12 ночи — заседание. На повестке дня:

1. Военное положение Литовско-Белорусской Советской Республики.

2. Доклад военкома т. Жукова.

3. Информация секретаря т. Богданович.

Полы военкомата были когда-то окрашены масляной краской, но тяжелые, подбитые гвоздями сапоги стерли ее и покрыли темными пятнами и комьями грязи.

В углах пустого зала, возле столиков с пишущими машинками, расположились красногвардейцы виленского отряда. Ребята с вечера ждали назначения и пока что занялись чисткой своих коротких японских еинтовок.

Анна сидела на деревянной скамье, уткнувшись в папку с бумагами, и быстро что-то писала. При каждом телефонном звонке она отрывалась от набухших папок, подымала седую голову и сразу не могла сообразить: какой конец трубки приложить к уху, какой — ко рту?

На ночном заседании Анна, по очереди загибая пальцы, предъявляла требования:

— Через три дня я выступаю с отрядом по направлению к Вильно.

— Толстые книги и папки с материалами добровольной мобилизации необходимо сжечь.

— Необходимо объявить принудительную мобилизацию.

— Все мобилизованные должны неотлучно находиться в городских казармах.

— Командиром партизанского отряда, идущего на Вильно, нужно назначить товарища Зямку Сайбиля.

Из всех требований Анны были приняты только два: первое и пятое.

Всю ночь просидела Анна, согнувшись над бума-

гами, подводя итоги своей двухмесячной работы в военкомате. На рассвете ушла в казарму, к отряду, и больше ее в военкомате не видели.

Три дня и две ночи Анна собирала из всех учреждений, складов и лавок продовольствие, одежду и оружие для отряда: он стал ее детищем, ее страстью.

После ее выступления в городе, среди ее партийных товарищей, пошли слухи и легенды. Одни говорили, что в Вильно находится ее семья: муж и двое детей. Другие — будто она имела задание пробраться в Вильно, а оттуда — в Варшаву.

Но Анна Богданович не имела в Минске близких друзей. Она оставила там только анкету, в которой значилось:

«Родилась в 1887 году. Польшка. С 1905 по 1907 г. принадлежала к польской социалистической партии. С 1907 г. в партии большевиков. Год сидела в Варшавской тюрьме. Десять лет провела в ссылке».

О своем прошлом Анна говорить не любила. На первом городском митинге председатель отрекомендовал ее так:

— Слово принадлежит Богданович, старой большевичке и политкаторжанке.

Анна быстрыми шагами подошла к краю деревянной трибуны, выждала, пока не смолкли аплодисменты тысячеголовой толпы, и весело заговорила:

— Не понимаю, товарищи, почему председатель так рекламирует мою каторгу. На каторгу часто попадают вовсе не за героические подвиги, а по глупости. Я была молода, не знала, как уберечься, ну и попала в застенки. Гораздо больше героизма в том, чтобы поработать несколько лет и показать жандармерии кукиш! Изображать мою каторгу, как личную заслугу, — ни к чему!

Высокая, узкоплечая женщина, с темными, легко загорающимися глазами, с седой стриженной головой, с улыбкой, открывающей два ряда белых зубов,— такой она осталась в моей памяти с того бурного во семнадцатого года.

Брат! Я, должно быть, сейчас очень устал и взволнован. В такие минуты я много говорю о себе и своем настроении. Между тем мое сокровеннейшее желание — эпически спокойно повествовать о бурном, героическом годе, воскресить в памяти все события и образы, имеющие отношение к Юлису и его товарищам.

Пятого января исполнится десять лет с тех пор, как Юлис, Людвиг, Станислав, Янкель и Хаимке прервали на четыре часа свою работу в Виленском совете.

В день пятого января виленские улицы будут усыпаны первым чистым снегом. Польские legionеры затопчут его тяжелыми сапогами, белый снег станет бурым и грязным.

А я с бьющимся сердцем, юными руками удалю эту бурую грязь со снега... Широко раскрытыми глазами стану искать на нем следы шести коммунаров, имена и подвиги которых кратко занесены в летописи Истпарта...

ГЛАВА ВТОРАЯ  
«ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ИСПАРТА»

В его старом паспорте значилось:

Имя: *Юлис.*  
Фамилия: *Шимелевич.*  
Год рождения: *1890.*  
Рост: *средний.*  
Вероисповедание: *иудейское.*  
Особые приметы: *нет.*

Если бы старый регистратор рижского полицейского участка внимательнее пригляделся к паспорту и его владельцу, он заметил бы, что Юлис — несколько выше среднего роста, что его густые, сросшиеся и образовавшие прямую линию брови прикрывают большие беспокойные глаза, сидящие глубоко подо лбом, что у него округленный, раздвоенный подбородок.

Впрочем, это уже — беллетристика. Регистратор рижского полицейского участка не занимается художественным описанием лиц и не замечает деталей. Перед регистратором стоял обыкновеннейший еврейский парень, «без особых примет».

Если бы историк из Истпарта, написавший краткую биографию Юлиса, был в Вильно в те дни, он, разумеется, знал бы, что Юлис за несколько дней до своей

трагической смерти сидел у своего товарища в ярко освещенной комнате. Откидывая костлявыми пальцами свисавшие на лоб волосы, он силился вспомнить забытую песню. Долго пытался Юлис ухватить ускользавший мотив... Наконец, поймал и запел. И песня, точно чужая, незваная гостья, одиноко бродила между кипами немецких газет, жалась к тяжелым бархатным портьерам и снова блуждала по ярко освещенной комнате, воскрешая в памяти Пятый год и «Последнее желание»:

... Когда, друзья, к могиле  
Вы понесете охладевший труп,  
Хочу, чтоб стягом альм вы накрыли  
Мой гроб...

Песня оборвалась... Юлис задумался... Несколько минут молчал и вдруг заговорил о своем родном доме.

На окраине Риги есть старое деревянное строение. Одиноко стоит оно, в стороне от других домов... Десятки лет носит оно на себе плоскую деревянную крышу. От снегов и дождей крыша почернела и прогнила насквозь. Пучки желтого моха и сорная трава выступают из щелей между досками.

В дождливый день струйки воды просачиваются внутрь дома. В такие дни мать тащит в комнату из сени деревянное корыто, ведра, пузатые кадки и ставит их в ряд — под дырами, зияющими в потолке.

Дождевые капли падают в железные ведра со звоном, холодно-враждебным, как медные монеты — в тарелку шамэса<sup>1</sup> в канун судных дней...

Во второй половине этого дома помещается модельня грузчиков.

<sup>1</sup> Ш а м э с — синагогальный служака.

<sup>2</sup> С у д н ы е д н и — осенние еврейские праздники.

Сорок лет под ряд отец Юлиса сторожил эту мо­дельню. Сорок лет под ряд зажигал поминальные све­чи за упокой чужих душ.

Глухой зимней ночью модельня погружена в мрак и безмолвие. Одинокая свеча мерцает на амвоне, бро­сая причудливые тени на стены и кивот<sup>1</sup>. В будни кивот затянут темно-коричневой занавесью.

Много сальных пятен въелось в ее суконную ткань. В сумраке модельни они походят на глазные белки слепых нищих, сидящих на ступеньках синаго­гального крыльца.

За окном бушует холодный, злобный ветер. Сметает снег с пустынных улиц, кружит вихревые столбы и воет долго, протяжно, как голодные кошки на крышах...

Стены модельни затканы паутиной, заставлены громоздкими разохшимися шкафами. Тяжелые фоли­анты безмолвно глядят из стеклянных дверец...

Глухой зимней ночью Юлис пробирается в модельню. Тихо, крадучись, подходит к резному кивоту. В ниж­них ящиках между грудями истрепанных молитвенни­ков и засаленных талэсов<sup>2</sup> он находит революционные листовки. Узкие окошечки женской модельни с тре­вогой глядят на пятнадцатилетнего мальчика у ки­вота.

Ветер врывается в разбитые окна, взметает к по­толку розовые занавески на окошечках. При свете одинокой поминальной свечи эти задранные занавес­ки похожи на изорванные знамена на январских пло­щадях Петербурга.

Юлис стоит, склонившись у резного кивота. Дро-

<sup>1</sup> К и в о т — синагогальный шкаф для хранения принадлежностей культа.

<sup>2</sup> Т а л э с — молитвенное облачение.



жащими пальцами засовывает он в ученический ранец узенькие листовки, еще пахнувшие типографской краской: завтра утром он их разложит по школьным партам, засунет в карманы учителей, в дверные щели. Одинокая свеча бросает нелепые тени на желтые стены. Вдоль стен стоят прямыми рядами пюпитры. Старые, бурого цвета, высохшие — они неподвижны, точно в землю вросли, как солдатские тела с отрубленными головами. На Юлиса надвигается круглый дубовый амвон с покривившимся столом. Поминальная свеча догорает: огонь слабо мерцает и медленно гаснет. Теперь в молельне тихо и темно. Касаясь вытянутыми руками пюпитров, скамей, амвона, Юлис ощупью пробирается назад, на другую половину дома. Отец и мать ничего не заметили: спят. А его ждет остывшая постель...

До рассвета он пролежит с полузакрытыми глазами. Тревожный сон полон сумбурных видений. Вот распались желтые стены молельни. У деревянных пюпитров выросли головы и глаза... Они медленно, густой массой движутся по снежной площади. Сон уносит Юлиса от знакомых изб и улиц в далекий город Петербург. У него очень ответственная задача, и потому все уступают ему дорогу... Вот он уже у щели. Поп в широкой черной рясе беспрерывно машет большим серебряным крестом и не замечает Юлиса. Густые людские волны неудержимо текут к огромному дворцу.

Юлис кричит приглушенным голосом, но никто его не слышит, и слова вязнут в глубоком снегу. Толпа с поднятой головой, с глазами, полными веры, все ближе подходит ко дворцу. Поп машет крестом и не замечает Юлиса. Юлис хватает его за руку, виснет на серебряном кресте. Теперь он видит всю толпу, и толпа тоже видит его.

— Что ты хочешь сказать, молодой товарищ? — доносятся голоса со всех сторон.

Голос Юлиса слышен во всех концах площади:

— Товарищи, не верьте...

Пуля попадает ему в висок. Он повис на серебряном кресте. Толпа мгновенно поворачивается спиной ко дворцу и к попу и бежит прочь... Он остается один на белом притихшем снегу... Не издает ни звука... Кровь каплями сочится из простреленного виска.

Юлис очнулся. Видения исчезли...

— Ерунда! Детские сказки! У меня сегодня заседание в Совете.

Товарищ Юлиса соскочил с кровати.

— Юлис, — просил он, — не ходи сегодня в Совет. Я разбуду ужин, мы проведем этот вечер дома и хорошенько выспимся. Сколько ночей ты не спал?

— Четыре.

Оба громко расхохотались, точно не спать по ночам было веселым, увлекательным занятием.

Юлис вскочил. Его веселость сразу исчезла. Он накинул на плечи солдатскую шинель и, застегиваясь, серьезно сказал:

— Понимаешь, Карл: член Совета может не притти на заседание, председатель может не явиться, но секретарь обязан быть всегда на месте.

Он задержался у двери, посмотрел в окно на надвигавшуюся ночь... Вечер, проведенный с другом, ожившие воспоминания детства освежили его: он снова стал похож на жизнерадостного мальчика, а глубокие глаза сверкнули веселым задором.

— Знаешь, Карл, я думаю на-днях мы выйдем на улицу. У нас есть сто винтовок. Немецкое командование, пожалуй, останется нейтральным.

Карл подошел к двери, пристально глянул на Юлиса и сухо сказал:

— При настоящем положении, когда мы не знаем точно, как относится к нам немецкая армия, открытие выступление было бы авантюрой. Ну, прощай! На рассвете я уезжаю. Надеюсь, твое предложение в Совете не пройдет.

.....

Истпартовский биограф Юлиса ни словом не упомянул об этом вечере. Биограф склонен думать, что весь этот эпизод — литературная фантазия: ему кажется невероятным, что в столь напряженный, ответственный момент Юлис вдруг увлекся пустыми рассказами о своем детстве. Автор биографии считает более достоверными, документально доказанными следующие данные:

«В семнадцатом году, в самом начале Февральской революции, Юлис находился в маленьком местечке Вер, Лифляндской губернии. В первые же дни революции он вступил добровольцем в армию, вошел в большевистскую военную организацию и, благодаря своим ораторским способностям, был избран председателем исполкома».

И дальше:

«5 января 1918 года, в день, когда в старом Петербурге, позднее — Петрограде, ныне — Ленинграде, открылось учредительное собрание, Юлис, сопровождаемый 75 вооруженными солдатами, вошел в зал заседаний и заявил, что XII армия будет защищать большевистские Советы до последней капли крови».

«Юлис — также автор первого приказа о демобилизации».

Происходило это приблизительно так.

Знойный летний день пал на солдатские лица каплями пота, пятнами томительного солнца... Юлис долго и горячо говорил на митинге. Солдаты лежали на земле полукругом, глядели в ясное небо и думали о том, что Юлис напрасно хлопочет, что половина XII армии уже разошлись по домам, что вскоре и они поступят точно так же.

Солдаты уже устали от митингов, голосований, аплодисментов. Равнодушные к речам, лежали кучками, грея на солнышке свои измученные тела и беседуя о домашних делах.

Юлис прервал свою речь, оглядел лежавшую толпу и хрипло спросил:

— Товарищи, кто хочет слова?

Усталые солдаты не желали говорить. Они поднялись с мест и скорым шагом пошли в казармы — укладываться в дорогу.

Тогда Юлис с горсточкой коммунистов вошел в бывшую армейскую канцелярию, взял из ящика большой лист бумаги и крупными буквами вывел:

#### ПРИКАЗ ПО XII АРМИИ

От имени Исполкома объявляю империалистическую войну оконченной. Каждый солдат может уйти, куда хочет...

Председатель Ю. Шимелевич.

Под окнами канцелярии слонялись кучками солдаты, пылало солнце, звенели бесшабашные песни. Весь день висел приказ на деревянной стене канцелярии, точно свежая заплатка на старой одежде, которая вот-вот разлезется...

Вечером, когда утомленное солнце легло в окопы и охваченные тишиной поля недавних битв уныло молчали, тоскуя по орудийной канонаде, четверо офицеров настигли Юлиса за городом и жестоко избили.

Били рукоятками наганов, кулаками, сапогами и при каждом ударе деловито приговаривали:

— За Россию!

— За приказ!

— За твой мир!

— За революцию!

— За солдатский совет!

— За твое жидовское нахальство...

Больше не за что было бить. Юлис, полумертвый, лежал на траве. С посиневших, распухших губ медленно стекала кровь. Офицеры выпрямились, вытерли рукавами пот с разгоряченных лиц, засунули наганы в кобуры и бежали из местечка.

Биограф из Истпарта ни слова не говорит о том, сколько времени пролежал избитый до бесчувствия Юлис на голой земле, как нашли его солдаты и на руках отнесли в ближайший госпиталь. Зато биограф передает другой эпизод из жизни Юлиса.

При демобилизации XII армии солдатский совет был вынужден продать часть армейского имущества. Для продажи инвентаря были выделены трое товарищей. Десять дней они распродавали инвентарь, и на одиннадцатый обнаружилась недостача денег — около миллиона рублей.

Двое суток просидел военный трибунал XII армии за красным столом, разбирая это запутанное дело.

Даже деревянные стены и мазаный потолок и те вспотели, и уже сочилась каплями вода на красное сукно, на усталые лица судей.

К концу одного из бесчисленных заседаний, когда судьи уже потеряли всякую надежду добраться до истины, к столу подошел высокий солдат. Лицо его было изрыто оспой... Волчьим взглядом злобно уставился на судей.

— Товарищи, довольно тут накручивать хвост, и Максимов тоже...

Максимов, председатель военного трибунала, вскочил, как ужаленный, и прервал солдата:

— Вы — свидетель?

— Нет.

— Мы не можем дать слово всей армии. В суд вызвано до двухсот человек. Если вы хотите фигурировать на суде в качестве свидетеля, а может быть — обвиняемого, мы вас запишем. Ваша фамилия?

Строгий тон Максимова и слово «фигурировать» испугали высокого солдата. Он стал пятиться к выходу.

Вспотевшая солдатская масса зашумела:

— Кончай дело!

— Не давать больше слова никому!

— Будя вольшку тянуть!

Председатель Максимов стоял у стола. Он произнес двухчасовую речь и потребовал смертной казни для всех обвиняемых.

Юлис сидел на краю стола, спиной к Максиму. Казалось, ему тяжело было глядеть в лицо председателю... Глаза Юлиса горели. Губы кривились. Руки дрожали: он глубоко засунул их между крепко сжатых колен.

Он не слышал слов Максимова. Сухой безостановочный скрип дверей царапал пылавший мозг. Перед глазами неотступно маячило изрытое оспой лицо высокого солдата.

Юлис высвободил из колен руки, но не знал, куда их девать: в данную минуту они казались ему совершенно излишним бременем. Нужно было дать им работу. Несколько раз он вытаскивал из кобуры револьвер, пересчитывал заряды, открывал и закрывал предохранитель.

Максимов все еще продолжал говорить. Мягкие слова кружились, падали, сбивались в груды и все больше и больше засоряли дело, погребая под собой истину. Ветер все время скрипел дверью: повидимому, была сломана задвижка. Крестьянская изба задыхалась в дыму, в духоте. Голос Максимова, смешиваясь со скрипом дверей, больно отдавался в голове Юлиса: словно кто-то близко от него скреб железным гвоздем по жести...

Юлис вдруг быстро повернул свое худощавое, подвижное тело к Максиму и оборвал его речь:

— Если ты требуешь смерти для обвиняемых, то сам первый должен получить смерть, потому что ты тоже виновен...

Глаза обоих налились кровью. Слова застыли на губах Максимова. Руки потянулись к кобуре, но никак не могли нащупать наган. Потом они поднялись к лицу и закрыли его дрожащими, растопыренными пальцами.

Теперь Юлис не видел его лица. И выстрелил в эти бледные дрожавшие пальцы.

Три заряда выпустил Юлис... Три пули пролетели над самой головой Максимова и ударились о потолок... Куски штукатурки и пыль посыпались на головы судей.

«Этот случай произвел тяжелое впечатление на Юлиса и был одной из причин, которые заставили энергичного организатора и блестящего оратора навсегда уйти от военной работы. Юлис стал инструктором Еврейского комиссариата и организатором еврейской коммунистической секции».

Так объясняет отход Юлиса от армейской работы его испартовский биограф.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### НОЧНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Через границы, заставы, окопы Юлис пробрался в Вильно. Был конец ноября, когда доживающий старый год бродит по полям, рассыпая последние желтые листья, первый снег и гонит буйные ветры.

В зажиточных домах Старого города еврейский календарь называл этот месяц «Тишри», а год — «Тарап»<sup>1</sup>. Узкий календарный листок напоминал, что много лет назад в этом месяце скончался великий гаон<sup>2</sup>. В убогих избенках предместья, в рабочих семьях этот год называли вторым годом революции.

Начало зимы зацветало в пенистых волнах Вилии, в жестоком северном ветре, который раскачивал вывески магазинов, срывал куски крыш с расстрелянных, полуразрушенных домов, бушевал в кривых улочках предместья.

В центре Старого города, на шумливых улицах, никто не замечал ее сурового прихода.

<sup>1</sup> Еврейское духовенство ведет летосчисление от сотворения мира. Буквы, входящие в название года, имеют числовую величину. Так, ТРП («Тарап») означает: 680, т. е. 5680-й год от сотворения мира.

<sup>2</sup> Гаон — ученый талмудист.



Десятки кафе и притонов красными фонарями и вывесками бросали свой призыв в суетливые улицы оккупированного города.

У дверей кафе юркие мальчики тонкими голосами зывали.

- Кофе! Котлеты!
- Обеды! Жареный гусь!
- С музыкой!
- С пивом!

Еврейские мальчики, точно щенята, бегали за германскими офицерами. Подымаясь на цыпочки, чтобы дотянуться, шептали им на ухо:

— Broichen Sei eine Mädehen? Eine Mäden villeicht broichen Sie?<sup>1</sup>

Эту заученную полуеврейскую, полунемецкую фразу дети произносили с тем же напевом, с каким за несколько недель до того, накануне праздников, их отцы выкрикивали у ворот синагоги проходящим евреям:

- Не нужен ли вам эсрэг<sup>2</sup>... А?
- Не нужен ли?..

На окраине города горел сахарный завод. Горел тихо, без шума, вздымая в осеннее небо густые клубы дыма и далеко распространяя сладкий, липкий запах перегорелого сахара. Завод выстроили немцы-оккупанты. Они же его и сожгли. Ночью лавочники-евреи тащили с пожарища подгоревшие мешки с сахаром и радостно перешептывались в темноте:

— Вот и им конец пришел! А что? Разве мы и раньше этого не знали?

<sup>1</sup> Искаженная немецкая фраза, означающая: «Желаете девушку? Может, вам нужна девушка?»

<sup>2</sup> «Эсрэг» — плод, похожий на лимон — принадлежность религиозного культа.

— Ну, это еще не все... Покуда от них избавимся — натерпимся немало. Они еще крепко сидят в седлах.

— Сидят-то сидят, да седло-то уж — не седло... В Берлине неладно.

— Сколько пудов вы захватили, пане Гирш?

— Пудов, пожалуй, восемнадцать, считая и головешки...

— А Вильгельм, говорят, тоже уже...

На вырученные за сахар деньги германские офицеры подрядили лихачей и все последние ночи в оккупированном городе проводили в непрерывных кутежах с проститутками.

В эти смутные дни в панских усадьбах по набережной Вилии, за наглухо запертыми железными воротами вырос польский легион.

А за Старым городом в окрестных лесах залегли кучки красногвардейцев: они подошли к оккупированному городу из Минска, Смоленска, Орла...

В эти взбаламученные дни, когда Старый город лежал беззащитный, в эти долгие, серые, слепые ночи Юлис с группой коммунаров проникли в здание бывшей женской гимназии и организовали Совет.

Незадолго до того Юлис писал в Россию:

#### «Т о в а р и щ и !»

Вот уже три недели я — в Вильно. Как я попал сюда, — долго рассказывать. Германская армия готовится к эвакуации. Наши связи с армией слабы. На днях германские солдаты маршировали по улицам Вильно с красными флагами под звуки «Марсельезы». Мы организовали параллельную демонстрацию еврейских и польских рабочих. Обе колонны шли отдельно друг от друга. Попытки объединить их не удались: они все еще чуждаются нас и держатся в стороне. Мои сообщения об Октябрьской революции вызывают удивление и восторг. За время моего пребывания здесь

состоялось несколько полулегальных митингов. Значительная часть «Бунда» сочувствует нам; но хватит ли у «сочувствующих» бундовцев решимости порвать со своей организацией — это еще большой вопрос. Здесь уже работает крепкая коммунистическая группа. В ближайшие дни я организую рабочий Совет. Первое время он должен будет работать полулегально. Я рассчитываю превратить Совет в штаб вооруженных рабочих. Немного оружия я приобрел у немцев. В Борисове я был арестован; пришлось бросить всю литературу. Ждите известий.

Ю л и с Ш и м е л е в и ч.

Тайком, с величайшей осторожностью, сносили в Совет ящики с порохом, ручные гранаты, немецкие винтовки. Юлис прятал оружие в подвал, тянувшийся вдоль всего дома.

С утра до вечера бегал по загородным казармам, добывая оружие для рабочей гвардии.

Стены четырехэтажного здания очень скоро забыли, что совсем недавно еще здесь была тихая обитель: женская гимназия. Стены видели, как глубокий подвал вздымается буграми ящиков, грозно щетинится задранными кверху винтовочными дулами, властно и устрашающе глядит на Старо-Херсонскую улицу.

В угловой комнате люди в те дни научились говорить кратко, отрывисто:

— Юлис, кто записывает в рабочую гвардию?

— Януковский, вести с фронта?

— Сайбель, у кого регистрируются вернувшиеся из плена?

— Януковский, надо послать ответ немецкой коммандатуре!

— Юлис, поди приляг: на тебе лица нет!

Но маленькая, с опухшими глазами, еврейка с Завальной улицы не знала, что в Совете надо говорить коротко и ясно. Двое суток она протомилась в своей

тесной, тоскливой каморке, рвала на себе волосы и до боли кусала пальцы... И когда все слезы были выплаканы, она, растерянная, прибежала в Совет и закричала на весь дом:— Люди! Пожалейте! Несчастье у меня!

— Что случилось? Говорите толком!

— Я буду говорить... Буду говорить... Горе мое будет говорить за меня... Когда город бросили... Нет хозяйина! К кому же я пойду? Кому покажу свои раны? Камням?

— Товарищ, успокойтесь... Совет примет меры. Совет вам поможет. В чем дело?

Еврейка сорвала с головы тяжелый платок и закричала громче прежнего:

— Что «поможет»? Чем «поможет»? Ведь он же привез из плена жену и двоих детей!

— Кто привез? — спросил юный регистратор.

— Мой муж! Мой верный муж, лучше бы его убило под Берлином!

Молодой рабочий стал спокойно объяснять женщине, что семейные дела не входят в функции Совета. Женщина его не слушала. Бегая по комнате, она требовала:

— Функцие! Шмункции!.. Заставьте его развестись с этой паскудой! Кто же еще может его заставить? Кроме вас в городе хозяев нет!

Долго еще еврейка оставалась в Совете, жалуясь на свое несчастье. Ее с трудом выпроводили.

Глубокая ночь глядела в окна, когда Юлис вошел в комнату и усталый опустился на стул. От бессонных ночей лицо его вытянулось и похудело, глаза ввалились. В них трепетало сдерживаемое возбуждение. Быстрым взглядом обвел он пятерых товарищей, точно хотел убедиться, не проник ли сюда посторонний человек.

В наступившей тишине он произнес кратко и отчетливо:

— У меня есть сведения, что немецкая армия собирается покинуть город. Я предлагаю завтра выйти на улицу и захватить город.

Один из пяти молчавших прервал Юлиса:

— Сколько вооруженных готово к выступлению?

— Сто.

Товарищ вскочил с места:

— Где ты набрал сотню? Я насчитал только шестьдесят.

— Шестьдесят вооруженных рабочих и сорок военнопленных. Их тоже надо считать.

Справа от Юлиса сидел Людвиг Януковский. Глаза его были красны от бессонных ночей, брови насуплены, голова опущена на руки. Он неторопливо ожидал продолжения речи Юлиса.

Януковский явился в Совет в первые дни его существования и тихо, незаметно принялся за работу. Вначале к нему отнеслись с осторожной сдержанностью. От его большой, красиво посаженной головы, широких плеч, плотной фигуры, осанки, манеры держаться и говорить веяло старым барством, из среды которого он вышел. Позднее стало известно, что в 1905 году Януковский поджог отцовскую усадьбу и с отрядом крестьян долго скрывался в окрестных лесах, наводя ужас на соседние поместья.

Обычно на заседаниях Совета Януковский сидел молча, насупив светлые брови и опустив большую голову на руки. Когда речи Юлиса становились слишком горячи и длительны, Януковский нетерпеливо кривил губы и зло усмехался:

— Станный народ эти евреи: они хотят сделать революцию словами.

Януковский выступал редко, да и выступая, бросал считанные слова в аудиторию. Но в них чувствовалась великая ненависть к «господам», сила и умение повелевать.

Такие ораторские вспышки редко бывали у Януковского, и после этих бурных выступлений он чувствовал себя плохо, смущенно краснел, точно совершил нечто лишнее и ненужное.

На этот раз Януковский изменил себе. Порывисто вскочив, он кинулся к Юлису и возбужденно закричал:

— Это — безумие! Преступление! С горсточкой вооруженных рабочих нельзя выступать против германской и польской армий. Один только польский легион насчитывает до шестисот штыков. Немецкое командование будет на его стороне. В каких-нибудь два часа нас всех вырежут... Необходимо сегодня же двинуть вооруженных рабочих на фронт. Пусть они нападут с тыла на немецкие, русские и польские банды и откроют фронт красногвардейцам, идущим от Минска.

Януковский обращался только к Юлису, точно кроме Юлиса никого не было в комнате. Возбуждение придало голосу страстность и крикливость. Голубые глаза Людвиг позеленели и налились злобой. Спазмы сжали горло, и недосказанные слова застыли на устах, разорванные и неясные.

Обессиленный, он опустился на стул. Плохо слушал ответ Юлиса и с сожалением думал о том, что не сказал товарищам самого важного: что он, Людвиг Януковский, готов пойти с отрядом на фронт и своей головой ручается за победу.

В стороне от пяти коммунаров сидел маленький, заросший черными волосами человек со странной фамилией: Рауль.

Речь Януковского он слушал отвернувшись... Его близорукие глаза под большими стеклами очков равнодушно глядели в окно. Казалось, они хотели напомнить всему миру, что их обладатель просидел несколько лет в тюрьме и знает наизусть «Капитал» Маркса со всеми комментариями Энгельса.

Взгляд Рауля оторвался от окна и несколько мгновений блуждал по серьезным лицам коммунаров. На его обросшем озабоченном лице, в углах губ, притаилась усмешка, которая должна была свидетельствовать о том, что он, Рауль, представитель местных меньшевиков, относится ко всей этой затее скептически и отрицательно.

Ночное заседание становилось все более бурным и страстным. Лица ораторов — серьезнее и строже. Атмосфера накалялась. Судьба города переходила из уст в уста, перекачивалась от одного края стола к другому.

О представителе меньшевиков Рауле забыли.

Быть может, это произошло от того, что он держался особняком и сидел в стороне от других. А может быть, от того, что его лохматая голова теперь низко склонилась над бумагой, а костлявые пальцы быстро что-то записывали огрызком карандаша...

Вдруг Рауль бочком придвинулся к столу, снял очки и начал монотонно читать по бумажке:

«От имени виленской организации всероссийской социал-демократической рабочей партии заявляю:

Во-первых, нельзя принести социализм на штыках чужеземных солдат.

Во-вторых, совет должен оставаться органом классовой борьбы, а не превращаться в штаб авантюристов.

В-третьих, в-четвертых, в-пятых...»

Бесконечно долго пережевывал он слова «социализм» и «классовая борьба». В окна заглянули уже первые лучи рассвета. Коммунары сидели молча, погруженные в размышления.

Станислав не произнес ни слова в течение всего заседания: все время перебирал пальцами.

Удивительные пальцы были у Станислава: тонкие, подвижные, беспокойные.

Он сидел в конце стола, полузакрыв глаза, а его пальцы нервно бегали по красному сукну.

Сквозь опущенные веки Станислав ничего не видел. Исчезли лица ораторов. Густой дым застилал стены и все, находившееся в комнате, а на месте реальных вещей выростала и ширилась гора слов... Она вырастает быстро, как после оползня горы, несущего камни, глину, песок.

У Станислава одна забота: в этой насыпанной горе слов отыскать отдельные буквы, из них составить слова, слова сложить в фразы. Вот перед его закрытыми глазами лежат прямые свинцовые строки, втиснутые в железные рамки. Рамки выстраиваются в шеренги, как хорошо вымуштрованные солдаты на параде.

Больше ему здесь делать нечего: все в порядке. Остается только спустить железные гранки в машину и наутро расклеить речи по стенам и телеграфным столбам.

Всякий раз, как Людвиг или Юлис начинают говорить, легкие пальцы старого польского наборщика приходят в движение — ищут вокруг себя свинцовые литеры, а тонкие ноздри тоскуют по запаху свежей краски...

Станислав часто говорит:

— И как это люди не поймут, что хорошая речь,



ежели ее не напечатать,— все равно, что выброшена на ветер. На чорта такая речь?

И, боясь, что его мысль не будет понята, добавляет:

— Так говорил Август перед смертью.

Он имеет в виду Августа Бебеля, которого лично хорошо знал.

У Станислава морщинистое лицо и короткая седая реденькая бороденка: должно быть, в его сухой коже слишком мало соков для бороды и вот она проросла так скупо. Сам он — высокий старик на длинных и худых ногах. Его тонкие губы всегда плотно сжаты, точно он боится, открыв их, выдать важную тайну.

Когда Рауль кончил говорить, Станислав разомкнул свои тонкие губы и вонзил в тишину короткую фразу:

— Болтает человек, а думает, что делает важное дело!

Его пальцы теперь лежали на столе, как мертвые, и ни один мускул не дрогнул на лице.

Юлис и Людвиг обменялись взглядами. Оба они знали, что за этой фразой старого наборщика лежит тяжелый жизненный путь.

Тридцать шесть лет простоял Станислав у наборной кассы. Его руки сложили миллионы букв в слова, слова — в абзацы.

— Если бы сюда собрать весь тот вздор, который я набрал за свою жизнь, можно было бы засыпать полгорода,— часто говаривал Станислав.

Однако он сохранил светлую, ясную голову. Он ничего не забывал из всей этой уймы книг, газет, объявлений и визитных карточек, которые ему приходилось набирать. Быстро, механически его подвижные пальцы бегали по наборным кассам виленских.

берлинских, варшавских, венских и львовских типографий. Он извлекал мертвые литеры, не запоминая даже названий набранных им книг.

— Болтовня! — изрекал он, стоя у кассы и вглядываясь близорукими глазами в польские, русские, немецкие рукописи...

Нередко бывали случаи, когда его пальцы оставались неподвижны на кассе. Глаза загорались ненавистью, и тонкие губы начинали дрожать:

— Я не стану набирать эту брехню: она направлена против нас!

Иногда такие протесты заканчивались забастовкой, бунтом, арестами; чаще — потерей места.

Когда Станислав бывает расположен говорить, он рассказывает удивительные истории о подпольных типографиях Варшавы и Лодви. Перед слушателями проходят глубокие подвалы, чердаки, шрифты, печатные станки, аресты, провалы... и где-то в стороне голова Станислава, склоненная над нелегальной рукописью.

Он помнит отчетливо и точно, на какой бумаге писала свои статьи Роза Люксембург, и может сказать, какой почерк у Феликса Кона, Дзержинского, Мархлевского и у десятка других польских революционеров.

— Феликс Кон всегда был горячим человеком. Это можно сразу заметить по его неровному, неразборчивому почерку. Одна строка у него написана большими прямыми буквами, как будто не пером, а дубьем всаживал он их в бумагу, другая идет криво, третья вся из мелких, частых буквочек, в четвертой — снова большие и прямые буквы. Нервный человек! Огонь! Он и теперь еще пятерых молодых за пояс заткнет. Вы мне рассказываете о Феликсе! — заканчивает он

добродушно, и слушателям кажется, что в старом Станиславе есть нечто от Феликса Кона, Дзержинского, Мархлевского и всей блестящей плеяды польских революционеров.

Когда заговорил Хаимке Сайбиль, Станислав открыл глаза. С минуту глядел на юное, но уже истомленное трудом лицо, и пальцы его, все еще неподвижно лежавшие на столе, забегали по красному сукну.

Людвиг и Юлис хорошо знали, что старик доволен речью Сайбиля и что пальцы его тянутся к свинцовым буквам, чтобы закрепить слова юноши на бумаге...

Хаимке Сайбиль, самый юный из пяти коммунаров, все время, пока говорил Рауль, усиленно пощипывал волосы на верхней губе. Не найдя их, вспомнил, что ему всего лишь восемнадцать лет и что из этих восемнадцати восемь он проработал на спичечной фабрике, и оттого его веки воспалены.

Всякий раз, как Сайбиль вспоминает об этом, его глаза загораются ненавистью, и сердце наполняется острым желанием больно ужалить кого-нибудь. И теперь он рванулся с места и злобно закричал:

— Товарищ Роль! (Хаимке не давалось имя «Рауль».) Партизаны, идущие к нам из России,— не «чужеземные солдаты»! Немцы нам — чужие, поляки — тоже чужие. И если вы называете таким скверным именем наших братьев рабочих, то вы не социалист и нечего вам тут делать, в Совете!

Юлис остановил Хаимке:

— Товарищ Сайбиль, не стоит тратить время на споры с ним. Приступим к голосованию.

Представитель меньшевиков дрожащими пальцами сложил свою декларацию. Хотел отвечать Сайбилю, но не нашел нужных слов и тяжело опустился на стул,

как человек, закончивший очень серьезную, ответственную работу.

Его близорукие глаза снова спрятались за большие стекла и оттуда глядели на Юлиса, на Хаимке, на всех присутствующих — и казалось, что все его волосатое лицо каждой морщиной, каждым мускулом выражало пренебрежение.

— Прошу занести мое заявление в протокол. Пусть останется документальное доказательство... История нас рассудит...

Никто его не слушал.

Проголосовали.

Три голоса — за Януковского.

Два — за Юлиса.

Предложение Юлиса провалилось.

Мотивировка:

«Нужно выждать, покуда красногвардейцы не подойдут ближе к городу. С сотней штыков нельзя выступать против германской армии и польского легиона».

Вместе со всеми Юлис встал из-за стола, подошел близко к Януковскому и тихо сказал:

— Людвиг, на сегодняшнем заседании мы проиграли город. Принятое сейчас решение ты сам выполняешь. Я не пошлю на фронт рабочую дружину. Я считаю это безумием...

Людвиг не отвечал. Он почувствовал, что вся тяжесть принятого решения падает на его плечи. Он вышел, чтобы осуществить собственное предложение.

На рассвете Юлис улегся на скамью. Подобрав худые колени к животу, натянул на скрюченное тело шинель и погрузился в тяжелый сон.

Януковский также пытался устроиться на узенькой скамейке, но с непривычки никак не мог приладить-

ся. Половина его длинного тела висела в воздухе. Твердый воротник резал шею. Людвиг снова поднялся и, усталый, пошел бродить по обширным комнатам Совета. Остановившись у окна, заспанными глазами следил за тем, как выходят поодиночке из Совета вооруженные рабочие и исчезают в узких переулках Старого города, растворяясь в предрассветном тумане...

По углам большого зала, на грязном полу, спали военнопленные.

Они пришли сюда из дальних немецких городов, где провели несколько лет в деревянных бараках, в конюшнях. От них шел запах пропитанных потом грязных рубах, дальней дороги и долгих скитаний... Под головами лежали тощие мешки с барахлом, а сердца томило одно желание: скорей бы вернуться домой, к отцу, матери, к жене и детям, к мирному прежнему житью. Но кровавые фронты снова изрезали поля и дороги, изрыли их новыми окопами, загродили заставами все пути в Саратовскую, Самарскую, Рязанскую губернии, и военнопленным пришлось волей-неволей застрять в незнакомом еврейском городе.

Осторожно пробираясь между густыми рядами спящих, Януковский долго присматривался к усталым, обросшим лицам и вдруг принялся будить Юлиса:

— Вставай, Юлис, вставай! Два слова...

Юлис привык к внезапным пробуждениям. Он приподнялся, с усилием раскрыл глаза, и сонливость его мгновенно исчезла. Перед ним стоял Людвиг, как-то странно возбужденный, на себя непохожий: белки его глаз были желты и испещрены красными жилками, посиневшие губы крепко сжаты, и, казалось,

ему было трудно протолкнуть между ними слово, голубая вена на виске напряжена, на давно небритом лице торчали жесткие, колючие волосы...

Людвиг молчал. Юлис почти физически ощущал тяжесть его молчания, как будто Людвиг навалился на него всем своим грузным телом.

— Людвиг, зачем ты разбудил меня?

Людвиг опустил на лавку рядом с Юлисом и глухо произнес:

— Если ты считаешь необходимым, давай обсудим еще раз твоё предложение.

Пять бессонных ночей крайне утомили Юлиса. Он недоверчиво взглянул на Людвига и сухо отрезал:

— Зря время терять... Ты ведь уже уснул товарищей из Совета?

— Здесь еще имеется сорок штыков. Я имею в виду военнопленных. Да и ушедших можно еще вернуть.

Юлис поднялся и нетвердыми шагами заходил по комнате. В рассветном сумраке его тощая фигура вытянулась, заострилась, бросала узкую тень на стену. И слова его в этом сонном зале звучали, как далекий, далекий отзвук.

— Вот что, Людвиг: пленные захватят Георгиевский проспект, мост и вокзал. Ты поспешишь вернуть рабочую дружину. Три дня мы сможем удерживать город в своих руках. А тем временем подоспеет отряд из России.

Людвиг подошел ближе:

— Юлис, я не веду борьбы с тобой. Мне революция дорога не меньше, чем тебе. И все же я считаю, что твой план—чистейшая фантастика... Сорок штыков против целой армии! Двух часов не пройдет,— и наши трупы будут валяться в сточных канавах. И к

чему такая торопливость? Немцы еще не уходят из города. Через несколько дней партизаны подойдут к мосту. Тогда я готов с десятью человеками выступить!.. Сейчас — слишком рано, Юлис. Нельзя пускаться на героические авантюры: это годится для эсеров!..

Януковский направился к двери. Юлис нагнал его у выхода.

— Людвиг, ты уверен, что немецкое командование будет заодно с поляками?

— Уверен.

— Для чего же ты разбудил меня?

У Людвига задрожал подбородок.

— Юлис, если бы я верил, что немецкое командование останется нейтральным, я бы сейчас разбудил пленных и вышел с тобой на улицу. А разбудил я тебя для того, чтобы еще раз выслушать твой план и окончательно убедиться, что он не годится.

Больше не о чем было говорить.

Новый день вставал за окнами Совета. Юлис и Людвиг глядели в серую рассветную мглу, и оба понимали, что ни один из них не представляет себе ясно, чей путь вернее.

В усталом мозгу Людвига звучали слова, брошенные Юлисом на ночном заседании: «Мы проиграли город!» А Юлис мысленно соглашался с Людвигом: «Немецкое командование будет на стороне польского легиона».

И его уже пугало собственное предложение.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### В КОЛЬЦЕ

Новый день был похож на предыдущие. Немецкая комендатура заканчивала распродажу имущества: кроватей, матрацов, муки. Еврей-лавочники обходили казармы в поисках выгодной покупки.

В местном меньшевистском комитете Рауль предлагал выйти из состава Совета.

В бесплатных столовых люди, уставившись голодным взглядом в тарелки, тщетно выискивали зерна крупы в мутной воде. Не найдя их, долго не выпускали из рук деревянных, изгрызанных ложек, точно боялись расстаться с последней надеждой...

Утром на заплаканные по-осеннему крыши выпал снег. Он был чахоточно серый, падал медленно и скупо: казалось, и небо перешло на твердый паек и отныне будет отпускать городу снег по счету и по ордерам.

— Нет запасов,— хмурилось небо.

— Нет запасов,— хмурился булыжник мостовой.

Редкие снежинки ненадолго залеживались на улицах: быстро превращались в липкую грязь.

Разбухшие от клади возы тащились по окраинным улицам к вокзалу, разбрызгивая по сторонам почерневший жидкий снег. Колеса были так облеплены грязью



будто их целыми месяцами вместо дегтя мазали ею.

Тяжелые лошади были такие же трузные, набухшие, как и эти горы вещей, громоздившиеся на фурах. Кони, тяжело переступая короткими и толстыми, похожими на бревна, ногами, медленно двигались к вокзалу. Их равнодушные глаза были полны тупой уверенности: «Мы вытащим... мы весь город вытащим вещей... Здесь ничего не оставим».

Немецкая армия покидала город.

К вечеру последние застрявшие солдаты, в одиночку и парами, конные и пешие, спешили к вокзалу.

Гулкий стук колес врезался в вечернюю тишину и повис над Старым городом...

. . . . .

Фридрих Найман, рядовой германской армии, почувствовал мощный приток сил... Эта сила шла от встревоженного мозга, напряженных жил; здесь, в чужом городе, из всех углов и щелей глядели опасность и смерть.

Фридрих Найман крепко натянул вожжи. Железные удила до крови врезались в углы лошадиных губ. Кровавая пена выступила на губах, и обезумевший конь понес телегу без пути и дороги в ночную мглу.

Фридриха Наймана больше не было,— на его месте теперь выросли две протянутые руки с закрученными вожжами; они натягивали их с такой силой, точно хотели притянуть голову коня к своей груди. Тяжелый, перегруженный воз запрыгал по мостовой, закачался, понесся вперед, задевая столбы и крылечки, и, наконец, свалился.

На окровавленного коня, на перепуганного солдата, на опрокинутый воз навалились другие лошади, возы, солдаты. В несколько минут посреди Стефанов-

ской улицы, во всю ширь ее, выросла живая, трепещущая гора, загородившая дорогу к вокзалу.

— Пропустите лейтенанта!

— Лейтенанта!

Никто не оглянулся на надрывавшегося до хрипоты шофера. Автомобиль задрожал, заревел во всю мочь и врезался в живую гору. Но гора осталась неподвижной и не пожелала уступить дорогу. Тогда лейтенант вышел из автомобиля и стал колотить рукояткой револьвера по головам людей и лошадей, сопровождая удары громкой бранью:

— Собаки! Труссы! У русских свиней научились!..

Фридрих Найман, рядовой германской армии, вылез из-под воза и посмотрел в лицо лейтенанту. При свете автомобильных фонарей он увидел глаза, налитые кровью, такие же безумно-бешеные, как у своей лошади. Застарелая, глубоко скрытая ненависть вместе с вспыхнувшей кровью хлынула к его мозгу...

Пуля, пущенная Фридрихом, угодила в правый висок лейтенанта. Последний грубый окрик офицера застрял за его вставными золотыми зубами...

Лейтенант подался назад, опустился в грязь и приклонился окровавленной головой к колесу автомобиля.

— Лейтенанта убили! — пронесся крик по толпе.

Паника охватила солдат: чужой темный город пугал их. Бросив посреди дороги возы с вещами, они стали пробираться осторожно вдоль домов по боковым улицам и переулкам. Неся на себе деревянные ящики, полотняные мешки, винтовки, они крались, как воры, по задворкам, боясь оглянуться назад — на оккупированный город, который теперь покидали...

Фридрих Найман не пошел на вокзал. Фридрих Найман был членом подпольной организации спартаковцев и знал, что ему следует остаться в городе.

Польский легион вышел из железных ворот панских домов на улицу. Группа вооруженных легионеров засела в военном госпитале и начала расстреливать притаившуюся улицу.

Два мальчика-близнеца возвращались из школы. Обойм было по восьми лет, у обоих были голубые ясные глаза..

Две пули, пущенные из окна военного госпиталя, попали в близнецов: одному — в голову, другому — в живот. Дети лежали, скрючившись, на почерневшем снегу...

Здание Совета было окружено со всех сторон. За час до того по обширным комнатам и коридорам четырехэтажного дома бродил рослый легионер, упорно разыскивавший председателя Совета.

Легионер был обут в желтые боты, подбитые железными гвоздями, отчего шаги его гулко отдавались в пустых коридорах.

Одна рука его все время лежала в кармане: закопченные пальцы сжимали рукоятку нагана.

Юлис столкнулся с ним на лестнице, которая вела в зал заседаний.

Легионер высвободил руку из кармана и подал Юлису большой запечатанный пакет. Юлис распечатал его. На клочке бумаги было написано:

«Виленскому Рабочему Совету.

Штаб польского легиона предписывает в течение двух часов выдать оружие и распустить Совет. Если приказ не будет выполнен в указанный срок, легион будет вынужден подвергнуть Совет обстрелу»

(Подпись)

Юлис застыл на верхней ступеньке лестницы. Электрическая лампочка слабо освещала его побледневшее лицо.

Снизу, из коридоров, доносился глухой гул, напоминавший шум отдаленного морского прибоя...

В окна глядело черное ночное небо, и только редкие звезды вспыхивали, как неожиданные разрывы пуль.

Юлис продолжал стоять на лестнице неподвижный, ошеломленный, прислонившись плечами и головой к стене, расставив ноги и уставившись глазами в бумагу.

Польские слова, столь похожие на русские... Такими словами пишут нам письма издалека... И тогда слова лежат на белой бумаге, такие близкие, такие родные. Тихой радостью и покоем веет от темных чернильных пятен... Как утренняя роса, они освежают сердце, будят в нем тревогу и радость близкой встречи...

А теперь, на верхней ступеньке тускло освещенной лестницы, польские слова, чужие и враждебные, как змеи, сползли с бумаги и оседали в утомленном бессонными ночами мозгу Юлиса недавно им же сказанной фразой: «Людвиг, на сегодняшнем заседании мы проиграли город».

Высокого легионера пугало каменное молчание Юлиса. Его горящие глаза глубже ушли под лоб и глядели оттуда с невыразимым озлоблением.

Легионер медленно, осторожно стал пятиться к выходу. Когда он дошел до последней ступеньки, Юлис очнулся от оцепенения. Он быстро вложил бумагу в конверт, и голос его снова обрел прежнюю звучность и твердость:

— Эй, ты, погоди! Сейчас получишь ответ.

Легионер остановился у самого выхода. Он засунул правую руку в карман, нащупал наган и успокоенный ответил:

— Хорошо. Я подожду.

Юлис вошел в боковую комнату. За столом на тех

же местах сидели пятеро коммунаров, подперев головы руками... Казалось, они не вставали с мест со вчерашнего вечера и все еще обсуждают предложение Юлиса. Так, по крайней мере, казалось Юлису, потому что в комнате стоял полумрак, а в голове snобали мысли о вчерашнем заседании. В действительности не все пятеро сидели за столом: Людвиг стоял, упершись коленями в стул, опустив голову на руки, и все время прерывал ораторов:

— Короче, короче! Предложение?..

Сайбиль, самый юный из коммунаров — тот самый, который имел привычку щупать свою верхнюю губу — торопливо закончил:

— Хлеба у нас очень мало. Хорошо, если хватит на два дня. А военнопленные там, внизу — люди случайные, чужие нам.

Людвиг оторвал голову от рук, увидел потемневшее лицо Юлиса.

— Юлис, что случилось? Отчего ты так бледен?

В напряженной тишине голос Людвиг прозвучал так виновато, что Юлису стало больно. Таким тоном просит прощения мальчишка-шалун, совершивший дурной поступок. Юлис, не отвечая, бросил на стол пакет и опустился на стул.

Людвиг быстро пробежал глазами бумагу и уже сухим, деловым тоном спросил:

— Кто передал тебе эту бумагу?

— Легионер. Он ждет внизу ответа. Что ты думаешь делать?

Людвиг поднялся спокойный, но голос его звучал приглушенно и хрипло:

— Товарищи, на вчерашнем заседании я проиграл город. Юлис был прав: не следовало отсылать из Совета рабочую дружину.

Молча и серьезно глядели на Людвига пятеро коммунаров... От непрерывной стрельбы и тревожной суety ночь, казалось, обезумела...

Губы Юлиса искривились, точно от внезапной боли.

— Людвиг, не время теперь заниматься психологией. Совет вчера принял решение, и мы все несем за него равную ответственность.

Людвиг вскочил... Руки его нервно забегали по красному сукну стола, точно искали что-то. Потом нервно сжались в кулаки:

— Товарищи!— заговорил он.— Не жалейте меня. Не нужно этого! Если вы считаете, что я виноват,— судите меня и ставьте к стенке! Но вчера я не видел иного выхода...

Юлис прервал его:

— Будет горячиться, Людвиг! Теперь ничего не изменишь. Но я хочу, чтобы товарищи узнали вот что: если бы мое вчерашнее предложение было принято, то, весьма возможно, мы теперь все валялись бы мертвые на улице. Я ведь надеялся только на то, что немецкое командование останется нейтральным. Но теперь я уверен, что между польским штабом и германской армией существовало тайное соглашение: легион выступил на улицу в тот самый момент, когда немцы покидали город.

Людвиг стоял у стола, молча, с поникшей головой. Он жалел теперь о том, что снова поднял решенный вопрос и этим побудил Юлиса взять назад свое вчерашнее предложение. Глубоко в извилинах его мозга притаились слова Юлиса. Но события надвинулись слишком быстро, смешали и спутали все его расчеты и планы и поставили его перед голым фактом: польский легион выступил, а в Совете не было никого...

Юлис вывел его из задумчивости:

— Довольно об этом, Людвиг! Какой ответ мы дадим польскому штабу?

— Спустить вниз. Настроение там очень ненадежное. Ни в коем случае не допускать легионеров близко к Совету! Штабу я отвечу сам.

Он взял большой лист бумаги. На столе, заваленном бумагами и книгами, не было свободного места. Людвиг приложил лист к стене и стоя стал писать прямыми крупными буквами:

«Виленский Рабочий Совет предлагает штабу польского легиона немедленно сдать оружие и распустить легион. В случае неисполнения приказа Совет...»

Что сделает Совет в таком случае? Этого Людвиг не знал. Он разорвал бумагу и крикнул вслед Юлису:

— Нужно задержать легионера, если он еще здесь.

Юлис не расслышал его слов. Он был уже внизу, среди сорока военнопленных, оставшихся в здании Совета.

— Мы выйдем на улицу или будем защищаться здесь?

Людвиг догнал Юлиса у выхода. Положив руку на плечо товарища, он, волнуясь, утешал его, как будто Юлису предстоял тяжкий путь.

— Еще не все потеряно. Если тебе удастся удержать военнопленных в Совете и заставить их взяться за оружие, — наше дело наполовину выиграно.

И тихим, глухим голосом добавил:

— Юлис, может быть это первый раз в моей жизни, когда я зову на себя, что не умею хорошо говорить... Самое важное сейчас — заставить военнопленных остаться в Совете. Помни об этом!

Юлис долго разыскивал легионера в желтых будах с тупыми носами. Его нигде не было. В извилистых коридорах, на каменной лестнице было пустынно. Одинокaя электрическая лампочка бросала бледный, слабый свет.

Юлис спустился в большой нижний зал и остановился незамеченный у двери. Военнопленные бродили по залу, собирались кучками по углам, шептались... Несколько времени они стояли, подняв головы и напряженно прислушиваясь к новым, неясным вестям, запутанным и пугающим, как последний хрип умирающего. Возвращались, тихо ступая, понурив головы, — каждый в свой угол, каждый к своей тяжелой думе: уходить или оставаться в Совете?

В одной из кучек выделялась фигура Сайбиля. Он что-то говорил собравшимся вокруг него военнопленным. Голова Сайбиля глубоко ушла в плечи, сам он был высокий, вытянувшийся и оттого издали казалось, что говорят плечи.

Юлис не слышал слов. Он видел, как отворачиваются обросшие, измученные лица, как их заволакивают страх и злоба, как ноги в серых обмотках все дальше отодвигаются от Сайбиля, точно от него веет опасностью и смертью.

Внезапно погас свет: кто-то перерезал провода. Все стнеслись к этому спокойно, а Юлису вспомнилась другая, давно прошедшая ночь. Он с горькой усмешкой подумал: «Какой детский вздор лезет в голову!..»

Только сейчас, в наступившей темноте, все заметили, что в узкое среднее окно вглядывается повисший в облаках лунный серп...

На буфете среди засохших бутербродов горели две керосиновые лампочки. Голубоватый свет падал на склоненную голову Людвига. Он пересчитывал боль-



шие хлебы на буфете с таким сосредоточенным вниманием, точно от количества их зависела судьба зажатого в кольцо Совета.

Голос Юлиса нарушил напряженную тишину:

— Двери Совета открыты! Кто думает о своей шкуре и хочет бросить нас, — пусть уходит сейчас же!

Его слова тяжело падали в темные углы зала, где толпились возбужденные военнопленные. Падали раздельно, четко и решительно, как третий звонок перед отходом поезда, напоминающий о том, что раздумывать уже поздно — нужно решать.

Желтые обросшие лица, грязные серые обмотки из всех углов потянулись к Юлису, точно его слова несли им бодрость и освобождение.

Юлис молчал, совершенно спокойный, как будто он уже заранее знал, что игра проиграна, что с этими людьми Совет не отстоять.

Тесня друг друга, военнопленные сбились в кучу, слепились в густую серость, в молчаливый клубок, растерянными взглядами с немой мольбой впились в Юлиса...

Юлис с минуту вглядывался в эти молящие глаза и вдруг понял, что они хотят только одного: чтоб Юлис сам решил тяжелый вопрос, избавив их от трудного выбора между «да» и «нет»...

Юлис подошел вплотную к толпе и заговорил.

Его речь была несвязна, но горяча. Он стоял прямо и твердо, точно врос в пол; но верхней половиной корпуса тянулся все ближе к нахмуренным лицам слушателей, как будто хотел перелить в них всю кровь собственного сердца. Он закончил свою речь и, взглянув на военнопленных, увидел все те же чужие и злобные глаза. Тогда он гневно закричал:

— Что? Пуль испугались? Три года валялись в

окопах, в плену и молчали? Хорошо там было? За чужое счастье головы клали, а вот, когда надо свой Совет защищать, так людей нет?! Да я больше уважаю этих польских бандитов, что окружили Совет, чем вас! Они хоть смело идут на смерть за награбленное добро... А вы?

Юлис повернулся спиной к толпе и громко крикнул:

— Людвиг! Станислав! Нужно внести сюда из подвала пороховые ящики и винтовки!..

Пристыженные военнопленные молча глядели на спускавшуюся в подвал горсточку коммунаров: те шли твердым, мерным шагом, не обращая никакого внимания на военнопленных, точно то была груда мусора, а не живые люди.

Первый не выдержал гнетущего молчания Афросьев, приземистый мужик, у которого борода густо росла из шеи, из ноздрей, из ушей... Кроме рыжей спуганной бороды, Афросьев обладал толстыми корявыми пальцами, которыми при всяком удобном случае колотил по своей волосатой груди, выкрикивая:

— Что ты мне зубы заговариваешь? Я человека по работе вижу.

Афросьев первый выдвинулся из толпы, стал бочком пробираться к подвалу.

Огромный человеческий клубок качнулся, сделал несколько шагов вперед и снова на мгновение остановился: так колеса, надолго увязшие в липкой грязи, не сразу сдвигаются с места... Затем, точно желая поскорее искупить свою вину, загладить пражнюю трусливую сдержанность, военнопленные торопливо побежали за коммунарами в подвал.

До полуночи перетаскивали по длинным коридорам ящики с порохом, ручные гранаты, короткие немецкие винтовки. Складывали их у стен, посреди ком-

наты, на трибуне. В полумраке бесформенная гора оружия походила на вещи, выброшенные из охваченного пожаром дома.

Окна Совета были высокие, узкие, с двойными рамами, как в церкви. Юлис вскочил на стол, прикладом высадил обе рамы и послал в темное пространство улицы первую пулю.

Взбудороженная улица мгновенно стихла, точно подавилась этой пулей.

В Совете минуты шли тягуче медленно... Казалось, только ветер завывал за окном и все происходящее — осада Совета — лишь тяжелый сон. Но тишина продолжалась недолго и была взорвана одновременно в нескольких местах. Польские пули запрыгали по стенам, по крыше, подбираясь к выбитым окнам.

— Погасить свет! — крикнул Людвиг у своего окна.

Пули нащупывают в темноте дорогу к открытым окнам, не находят, слепо тычутся в стены, в крышу и попадают в окна соседних зданий.

Старый еврейский город притаился во тьме за семью замками. Деревянные домики еще ниже пригнули к земле свои ветхие крыши и пугливо съежились, в нетвердой надежде, что пули пощадят их и пролетят мимо.

Дома богатых еврейских торгашей глядят на взбудороженные улицы наглухо закрытыми ставнями. Страхом и бессилием веет от их облезлых стен. Они заплаканными крышами молят об одном: «Дайте нам покой!.. Нас истомили оккупации, войны, революции. Дайте передохнуть!.. Мы не вмешиваемся!..»

А в аристократических польских кварталах на набережной Вилии — яркий свет и оживление... Каждый дом — штаб. Каждый дом готовит смерть рабочему Совету и деревянным предместьям...

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### ВТОРОЙ ДЕНЬ

Утро проникло в разбитые окна Совета. Бледный рассвет долго боролся с ночными тенями и, наконец, упал на пороховые ящики зимней стужей и сыростью.

В осажденном Совете никто не замечал пронизывающего холода. С утра по извилистым коридорам прошла весть: прошлой ночью группа рабочих из предместья, перейдя мост, пыталась прорваться к Совету.

Радостная весть долго бродила от кружка к кружку, от кучки к кучке и осела в голове Станислава вполне законченная и ясная, точно он сам был на месте действий.

— Товарищи,— рассказывал он,— уже твердо стояли на мосту, когда их заметил польский патруль. Два часа они дрались, как настоящие солдаты.

Старик воспламенился от собственных слов. Вытянув руки, он показывал, как рабочие продвигались вперед под градом пуль. Его рассказ захватил военнопленных.

— Что же сделал польский штаб? Малость: двинул половину легионеров к мосту и обстрелял горсточку рабочих из орудий. А когда заговорят орудия, тут уж умничать нечего. Никакое геройство не поможет: надо уходить...

Седая голова Станислава раскачивалась в такт словам. Глаза, как всегда, были полузакрыты. И только в бесчисленных морщинах сквозили радость и печаль, надежда и тревожное ожидание...

Чем больше рассказывал Станислав, тем больше он верил в то, что дело у моста происходило именно так, как он изображает...

Военнопленные, окружив старика, следили за спящими слипающимися глазами за его подвижным лицом и энергичными жестами. Нетерпеливый вопрос прервал речь Станислава.

— Они еще вернутся?

— А то что же? Дадут нам погибнуть здесь?

— Они придут на подмогу?

«Они»... Это слово будило в осажденных веру в горсточку рабочих с окраин. Да, этой ночью они снова выйдут из своих сгорбленных домиков и спасут Совет от тибели...

От этой мысли повеяло теплом. На время забыта опасность, которая каждую минуту может нагрянуть в разбитые окна. Люди побежали к буфету, накинулись на чай, помутневший от желтого сахарного песку... Темная пленка плавала сверху, не желая растворяться в горячей воде. Бурый черствый хлеб походил на куски высушенной, давно не видавшей дождя земли. Но люди торопливо и алчно засовывали в широко раскрытые рты большие куски, запивая их мутным чаем.

И взгляды прояснялись, как у людей, много дней ожидавших на заброшенной станции поезда и вдруг узнавших, что он подходит.

Вятка, Рязань, Самара, заброшенные деревни, незасеянные поля мелькнули перед глазами и исчезли.

В одной из групп Людвиг сообщал радостное известие:

— Группа спартаковцев осталась в городе. Она пробивается к Совету.

Юлис осторожно завел речь о помещичьих землях, которые, благодаря революции, перешли к крестьянам. Было рискованно напоминать теперь этим пахарям о земле, о доме. Несколько минут они слушали Юлиса молча, нахмурившись. Потом один из них не выдержал:

— Ты скажи лучше, как поделили землю-то? Забрать землю — не штука... Кабы я теперь дома был, меня бы не надули. Дед мой и прадед на этой земле работали, — стало быть, она моя! А что моя баба понимать может, ежели она из чужого села? Как мы пришли сюда, так сейчас и надо было отправить нас домой... Чего нас здесь держать? Неправильно это! Нам здесь делать нечего. Не наш этот город! Мы — прохожие люди, и все тут! Коли такая штука в нашем селе случится, я за свое крестьянское дело голову положу! А тут мы зря пропадаем. Совсем понапрасну... Не мы тут Совет строили и не для нас он... Поляки — народ поганый, это что и говорить! Паны у них всю власть имеют и над крестьянами измываются... Что верно, то верно — спору нет. Да только ежели мои соседи на селе лучшие куски земли себе заберут, а мне достанется шиш... а? Что я тогда делать стану? Жалобы сюда писать?

— Правильно он говорит! — отозвался приземистый мужичок из другого угла. — Революция далеко, а голова моя тут вот, на плечах... Ежели я ее потеряю, никто мне и спасибо не скажет. Они хотят геройство показать! Винтовок самая малость, а они с целой армией меряться вздумали! Да и хлеба нету. Словами нас кормят!.. Что нам Совет? Мы не тутошние...

— Не тутошние мы, оно — точно! — подхватило несколько голосов.

— Делегацию послать надо, — неуверенно предложил мужичок.

— К кому делегацию? — вскочил с места взбешенный Афросьев, — к панским псам? Они нас из Совета не выпустят — у ворот перестреляют. Если тебе любо пропадать, как псу, — ступай: никто тебя не держит.

— Тебя не спрошусь, чорт волосатый! Ты — бродяга, не хлебороб! У меня дома большое хозяйство осталось, а у тебя, окромя драных портков, ничего нету!

— У меня добра не меньше твоего, — возразил Афросьев. — Землю у нас на селе разделили поровну между всеми. На, гляди!

Он вытащил из-за пазухи скомканную бумагу и, тыча ею в нос противника, теснил его к стене. Мужичок пятился назад, трусливо мигал глазами и не знал, что сказать.

Афросьев не мог успокоиться. Он перебегал от Юлиса к Людвигу, от Людвига к Станиславу и возбужденно говорил:

— Панский прихвостень — вот он кто! Я знаю его по нашему селу... Таких, как он, надо тут же на месте расстреливать, чтоб ему домой не воротиться! Там он опять сядет мне на шею... Я его знаю!.. А насчет того, что у меня нет ничего, это он правду говорит. Только землю-то у моего батьки не по закону забрали: у меня свидетели есть. И на фронт меня угнали неправильно: по закону моего призыва и брать не имели права.

Спор между крестьянами становился горячее и ожесточенней. Старые домашние деревенские счеты вста-

ли, как мертвецы из гробов, и налили крестьянские глаза кровью и тоской по покинутой земле.

Годы войны и плена, опасности и смерти растаяли в заботах о доме... Разбившись на группы, люди размахивали корявыми мужицкими руками, хмурили обросшие грязные лица и кричали, перебивая друг друга... Со стороны могло показаться, что здесь собрался сельский сход.

Заметив, что Юлис готов вмешаться в спор, Людвиг отозвал его в сторону:

— Юлис, ты уже допустил ошибку и хочешь ее повторить. Не суйся ты теперь к ним. Они сильно раздражены, и словами тут ничего не добьешься. Нужно тихонько отозвать оттуда Сайбиля, Станислава и Асса. Пусть они займут внутренние проходы. Если военнопленные решат сдаться, мы будем вынуждены обезоружить их и силой задержать в Совете, хотя бы для этого пришлось прибегнуть к оружию. Сейчас — четыре часа. Нам необходимо удержаться здесь до утра. Если к тому времени не подоспеет помощь из Минска или из рабочих предместий — наше дело кончено...

Глядя в сторону, Юлис заговорил тихо, как бы про себя:

— Я считаю, что мы не в праве так поступать. Мы можем распоряжаться собственными головами. Но кто дал нам право толкать в огонь военнопленных? Я предлагаю открыть двери и отослать их.

Людвиг побледнел. Расширенными глазами глядел он на Юлиса... Потом, задыхаясь, с усилием выговорил:

— Юлис, это значит — сдаться?

— Нет! — спокойно возразил Юлис. — Это значит только, что мы впятером, если не считать Афросьева,



который наверняка будет с нами, остаемся защищать Совет. Вчера еще я думал, что на них можно опереться; сегодня же я убедился, что с ними ничего не сделаешь... Это — кучка богатых мужиков: они рвутся домой. Мы теперь имеем два враждебных фронта. Они только усложняют наше положение: в последнюю минуту они нас предадут.

Между Юлисом и Людвигом сверкнул сединой головы Станислав.

— Дети, чего носы повесили? Еще не все потеряно. У нас есть полный ящик пороху и две краюхи хлеба. При самых рискованных положениях революционер обязан верить в победу. Поняли? Нельзя теперь выпускать из совета наших «вандейцев»; это значило бы самим подписать себе смертный приговор. Я на это не пойду. И от тебя, Юлис, больше таких речей слушать не хочу!

Он отечески похлопал Юлиса по плечу, — и все трое рассмеялись.

— Вот так, так! — оживился старик. — В борьбе побеждает тот, в ком больше мужества и бодрости, как сказал...

Станислав забыл, кому принадлежит этот афоризм... Покраснев, как мальчик, он побежал к военнопленным.

— Ну, братцы, будет вам бодаться! Афросьез, поди допей свой чай и расскажи-ка нам, как ты сидел в плену у австрияков. Ну, поворачивайся: когда старый Станислав приказывает, надо повиноваться!..

Он врзался в толпу военнопленных и стал подталкивать Афросьева к его остывшему чаю и недоеденному хлебу...

Усталые, охрипшие от споров военнопленные с минуту стояли растерянные, не понимая резвости Стани-

слава. Выпучив глаза, глядели на расшалившегося, как школьник, седого деда, который подталкивал Афросьева и притопывал длинными ногами...

— Афросьев, рассказывай!

— Валяй, Афросьев! Как ты у австрияков сидел?

Громче всех кричал противник Афросьева, приземистый корявый мужичок.

— Пушай все знают, какой он осел! — шепнул он на ухо соседу.

Волосатый Афросьев долго отнекивался. Он тщательно собрал на ладонь хлебные крошки, высыпал их в рот, подумал и начал:

— Человек я — темный, неученый, с малолетства в людях работал, потому — землю у нас забрали... Но люблю, чтобы все было по закону.

Рассказчик обвел добродушным взглядом слушателей и продолжал:

— К австриякам в плен я попал, почитай, в самом начале войны. Наш капитан, видишь ли, был немец, — он нас всех и продал... Две недели мы сидели спокойно. Кто чинил одежду, кто стирал белье. Которые помоложе были — невест искали по ближним селам да к ним на хлеба переходили... Раз, — утром дело было, чуть светать начало, — входит к нам в барак австрийский капрал и гонит всех на работу. Шесть месяцев мы с товарищами чистили конюшни, ямы копали, дороги чинили... А на седьмой месяц спрашиваю я ихнего капрала:

«— Бумаги имеешь?

Он аж глаза вылупил:

«— Какие такие бумаги? — спрашивает.

«— А такие, говорю, бумаги, где сказано, что мы, русские военнопленные, обязаны даром на вас работать.

«Он как загогочет, да так громко, что я думал — жила на его жирной шее лопнет.

«Смейся, пожалуй,— думаю,— можешь хоть лопнуть!» — и опять говорю: — «Покуда ты не принесешь мне собственноручный письменный указ вашего императора Франца-Иосифа, чтоб военнопленные работали даром, я с места не двинусь...»

Афросьев не закончил рассказа: польский снаряд срезал угол дома.

Дым застлал окна, и в первый момент никто не мог сообразить, где произошел взрыв: внутри Совета или снаружи? Когда прошла минута оцепенения, все увидели на полу два вырванных из домовой стены кирпича. Они плотно лежали один на другом, точно спящие... Казалось, общее несчастье навеки связало их.

Повидимому, польский снаряд метил в другую цель, но по пути сорвал кирпичи из их долголетнего каменного покоя и швырнул в зал Совета.

Кирпичи переходили из рук в руки, вызывая острое возбуждение, смешанное со страхом... Тяжелая тишина придавила Совет... Оживление исчезло.

В разбитые окна входил с улицы холод. Синяя мгла медленно поползла по голым стенам, по лицам и незаметно превратилась в вечернюю темноту...

Станислав просил Афросьева продолжать прерванный рассказ. Афросьев не слушал: он не отводил напряженного взгляда от окна, как будто с нетерпением ожидал второго взрыва.

Станислав попытался повторить свое сообщение о вчерашних событиях. Но военнопленные даже не оглянулись. Разбирая последние патроны, они с равнодушными лицами заряжали винтовки, ворча сквозь зубы:

— Рассказывай сказки!.. Нема дураков!

— Никто сюда не шел на подмогу...

- Нас тут как котят передушат,— и не пикнешь!..
- Скажи спасибо, что они не бьют сплошь из орудий...
- Да им и пули жалко: голыми руками взять нас хотят.
- Ждут, пока сами не сдадимся...
- Никто отсюда живым не выйдет: мы зажаты в кольцо!..
- Наврал старый нынче поутру: никто к нам на выручку не шел...
- Молчать! — зарычал Афросьев.— Чего каркаешь, ворон проклятый!..

Станислав не лгал.

Фридрих Найман и с ним восьмеро немецких солдат с двумя орудиями остались в городе. Они засели в Закрецком лесу и ждали председателя комитета польских социалистов Богуславского, который должен был прийти из города, чтобы повести их к Совету.

Восемь спартаковцев молча расхаживали возле орудий. Ноги, бесшумно попружаясь в мокрый, вязкий снег, оставляли на нем глубокие черные следы.

Сосны гнулись под ветром, пьяные и буйные... Деревья стонали по-человечески, выли долго и протяжно. Сырой, гнилой холод грыз озабоченные лица, пронизывая до костей... Тяжелые, пузатые тучи поползли к горизонту, но зацепились за верхушки старых сосен и застряли на месте. Беззвездная ночь окутала землю. Деревья, перепуганные нахлынувшим мраком и вихрем, жалась друг к другу и сливали свои голоса в один мрачный вопль...

Один из восьми спартаковцев не выдержал бездействия:

— Фридрих, я начинаю думать, что Богуславский — предатель. Он сознательно вывел нас из города в лес и приказал ждать его.

— Наше место у Совета, — там, где решается судьба города, а мы топчемся здесь в болоте.

— Он вообще не нравится мне... Слишком много говорит о Польше и очень мало о революции.

— Он — вождь здешних польских социалистов. Он не может быть предателем. Такое предположение — бессмысленно...

— Но мы теряем эту ночь. Утром мы к Совету не пробьемся.

— Уже три часа, а его все нет!

— А обещал сейчас же вернуться либо прислать с кем-нибудь директивы.

— Он придет. Потерпим еще... Мы в этом городе — чужие, и сами не найдем дороги.

— Дорогу всегда найти можно. Мы — спартаковцы. Мы обещали Юлису поддержать Совет, если он захватит город.

— Город захвачен легионерами, а не Советом.

— Тем более мы обязаны идти на помощь.

— Что ты предлагаешь?

— Оставить здесь орудия, взять винтовки и по реке пробраться к Совету.

Под ногами — истоптанный снег. Над головой — ночная темень. По одну сторону — разбушевавшийся лес. По другую — погруженный во тьму, расстрелянный город. Огоньки папирос, вспыхивая, освещают лица восьми немецких солдат. На мгновение сверкнут в густом мраке белые зубы и вновь скроются за усами, злыми губами. Говорят тихо, отрывисто: каждое слово стоит головы; каждое слово стоит жизни.

— Кто старшой?

— Фридрих Найман.

Семь рук взметнулись вверх и снова упали. Принято.

В лесу прозвучала команда Фридриха:

— По трое в ряд. Один — со мной!

Восемь теней, крадучись, пробирались лесом. Мокрый снег налипал на тяжелые сапоги. Ветер рвал полы длинных шинелей. С трудом продвигались спартаковцы вперед. Лес провожал их дикими голосами. Сверху глядело черное, слепое небо. И только бледные полосы света из деревянных домишек предместья указывали дорогу к реке.

Изредка в реку падала шальная пуля. От места падения расходились ровные круги, исчезали, и снова река текла, немая, черная, как смола... Может быть, она в эту безумную ночь тосковала по голубом ледяном покрове, который защитил бы ее воды от пуль?

Восемь спартаковцев с трудом пробирались у самой воды, проваливаясь по колено в рыхлый снег, увязая в размокшей глине... Фридрих Найман предложил образовать сплошную цепь из винтовок. Солдаты остановились, озябшими руками сняли с плеч винтовки и двинулись дальше — к мосту. Найман шел впереди, держась за винтовку шедшего за ним товарища, тот — за следующую... Молча и медленно двигались вперед, напоминая усталых бурлаков, впряженных в тяжелую баржу...

У моста их заметил польский патруль.

— Кто идет?

Хриплый окрик с другого берега долго блуждал по темным водам, потом затерялся в шуме ветра.

— Кто идет?

Молчание.

Окрик не повторился. Теперь горсточка спартаков-

цев шла под непрерывным обстрелом. Пули пролетали над головами, падали у ног в рыхлый снег. Противоположный берег реки пришел в движение. Кучка спартаковцев остановилась. Вода поглотила тихую ксманду Наймана:

— Цепью! На десять шагов — разойдись! Огонь! Восемь спартаковцев рассыпались по берегу Вилии. Они залегли в снежной ложбине, сжимали винтовки, уставившись напряженным взглядом в чужой, темный город. С противоположного берега беспрерывно сыпался свинцовый град... Смертоносные вспышки освещали воду... Пули искали во мраке дорогу к восьми спартаковцам.

У них не было никакого прикрытия. Тогда, покинув свои места, они поползли к телеграфным столбам.

На одну минуту все затихло. И в этой внезапной тишине спартаковцы расслышали голос Богуславского.

Они застыли на месте. Затаив дыхание, прислушались. Им все еще не хотелось верить, что Богуславский предал их. Но его голос слова донесся к ним, на этот раз громкий и отчетливый: он отдавал приказ польским легионерам.

Дальше спартаковцы не пошли. Без команды, только по инстинкту старых солдат, решивших отомстить, они выпускали последние заряды в Богуславского.

Спартаковцы прекратили огонь, когда Фридрих Найман упал простреленный. Пуля угодила ему в левый бок и застряла около сердца. Смертельно раненый, добежал он до телеграфного столба, обхватил его обеими руками и медленно скользнул вниз — на снег. Кровь расплылась пятном по старой шинели, окрасила снег и потекла тоненькими струйками. Лицо потемнело, глаза глубоко западали, точно хотели уйти от невыносимой боли и смертного ужаса...

Он был еще в сознании. Посиневшие дрожащие губы бормотали какие-то несвязные обрывки фраз. Он пытался слабеющей рукой указать на тот берег и несколько раз повторил имя Богуславского. Потом его лихорадочный бред перешел в тяжелый хрип. Он хотел попрощаться с товарищами, сказать им перед смертью что-то очень важное. Но кровь хлынула из его горла, и голова упала на руки товарищей.

Семеро спартаковцев застыли в тяжком молчании.

С другого берега все еще летели пули. Спартаковцам нечем было ответить... Серый рассвет уже будил небо от сна...

Трое спартаковцев подняли тело Фридриха и по-лесли в лес.

Так умер Фридрих Найман, рядовой германской армии...

.....

Хаймке Сайбиль, сидя у окна Совета, посылал пулю за пулей в темное пространство. Он не глядел на военнопленных: он не любил их и не понимал. Чгобы не слышать их злобных мужицких жалоб, он начал думать о своем старшем брате Зямке. Где-то он теперь? Жив или погиб на фронте? Хаймке ничего не знает... Прощлой ночью ему вдруг почудилось, что кто-то окликнул его по имени. Голос донесся с улицы и оборвался у окна. То был родной, близкий голос... Сайбиль перестал стрелять и высунул голову в окно. Долго лежал он на подоконнике, уставившись широко раскрытыми глазами в ночную темень, и ждал: не повторится ли зов?

Кто мог звать его?

Старуха-мать, наверно, сидит дома у печки, в полудремоте вяжет свой чулок и ждет, что вот-вот откроется дверь и он войдет в комнату...



А может быть, мать бродит вокруг Совета, и его собственная пуля убьет ее?

Охваченный ужасом, Хаимке соскочил с подоконника и забегал по комнате. Юлис остановил его.

— Сайбиль, что с тобой? Куда бежишь?

Воспаленные глаза Сайбиля блестели в сумраке, как стеклянные... Ноги были широко расставлены. Длинное туловище съежилось, уменьшилось в объеме. Голова запрягалась в плечи.

Юлис взял его за руку, подвел к окну и строго сказал:

— Смотри: нет никого. Не повторяй больше этой глупости. Нас здесь всего пятеро коммунаров,— не увеличивай тревоги!

Юлис не отходил от окна до тех пор, пока Сайбиль не возобновил стрельбы...

Теперь на лице Сайбиля отражалось мрачное спокойствие. Он ни с кем не разговаривал и не отходил от окна. Руки его привыкли к винтовке, и он боялся расстаться с ней. Когда за окном наступало затишье, он высовывал наружу голову, и взгляд его блуждал по сторонам... Тишина пугала его...

. . . . .

Людвиг ни минуты не оставался без дела. Таскал из всех комнат столы, стулья, ящики: строил баррикаду у выхода. Гора вещей выросла у широкой запертой двери, уперлась в каменную стену, подбираясь перевернутыми столами и скамьями к потолку. И вдруг, не выдержав собственной тяжести, с грохотом рухнула на заплыванный пол.

У Людвига был большой запас сил и терпения: он принялся восстанавливать рухнувшее сооружение. У выходных дверей вспыхнула ожесточенная борьба

между мертвой неподвижностью вещей и терпеливым упорством человека.

Никто не мог понять, на что ему понадобилась баррикада. В Совете был еще и другой вход — со двора, через который легионеры могли проникнуть внутрь. На все недоуменные вопросы Людвиг отвечал коротко:

— Так нужно. Позднее поймете...

Но он и сам не знал, к чему это нужно. Он чувствовал всем своим взбудораженным существом, что сейчас он не может ни минуты оставаться без работы. В его боковом кармане лежало письмо от Анны Богданович, сообщавшей об очень близком свидании.

Людвиг строит баррикаду у наружной двери Совета. Ему некогда перечитывать письмо Анны.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

### ОТРЯД

Осенние дни уже несли полям дыхание зимы, первые заморозки и редкий снег... По озеру пошли бурные волны.

Трое суток волновалось озеро, боясь покоя, которым воспользуется стужа, чтобы затянуть его ледяной корой и на долгую зиму запрятать под толстый голубой покров.

Буйный ветер примчался издалека, с тоскливым волчьим воем пробежал по лесным чащам и сделал ночи еще более долгими и тревожными. Жалобный стон качаемых бурей деревьев смешался с шумом ближних вод.

В темные осенние ночи столетние великаны молили о помощи, простирая надломанные ветви; склоняя головы, отбивали яростный натиск ветра и, изнемогши в тяжелой борьбе, падали по одному и целыми группами... Лежали, раскинув гордые вершины и силетаясь вывороченными корнями. Корни не хотели выходить из сырых глубин голыми, — они тащили за собой груды земли, осыпая ими стволы у свежесрытых могил.

Три дня и три ночи ветер валил деревья в сосно-

вой чаще. На четвертый день брызнул на сломанные ветви ярким солнечным светом и последним осенним теплом.

В этот день красногвардейцы выступили из ближайшей деревни, переправились через озеро и пошли лесом к оккупированному городу.

Впереди отряда, между Зямкой Сайбилем и Берелем Амдур, ехала Анна Богданович.

Полы ее длинной шинели, промокшей при переправе, еще не успели высохнуть. Чувствуя на своих боках их студеную влажность, лошадь нервно дрожала, била копытами и, вздыбившись, пыталась сбросить всадницу. Анна крепко сжимала бока лошади тяжелыми сапогами, ту же натягивала поводья, не понимая, что случилось с ее смирной лошастью.

За Сайбилем, Амдуrom и Богданович следовал отряд. Шли пешком, ехали на лошадях, на волах.

Среди четырехсот красногвардейцев было много еврейских и польских парней из виленских предместий. Со всех концов России они съехались в Минск и, примкнув к первому сформированному отряду, пошли освобождать родной город.

Отряд был одет пестро.

На головах:

фуражки-хаки с блестящими черными козырьками, восьмигранные кепи, высокие смушковые папахи.

На ногах:

рваные сапоги, стоптанные лакированные туфли, желтые ботинки.

На плечах:

серые шинели, ватные куртки, бушлаты, летние однорядные пиджачки с поднятыми воротниками.

Винтовки несли по-разному — кто как хотел: на плечах, подмышками, в руках.

А Шлемка Мушкат, привязав к пулемету веревку, тащил его за собой, точно салазки.

За три недели скитаний по лесам и селам по пути к оккупированному городу отряд много раз менял своих командиров. После каждой неудачной стычки с какой-либо бандой отряд собирался в круг и надрывался до хрипоты:

— Давай нового командира!

Фактически командиром и руководителем была Анна Богданович: именно она посоветовала Зямке итти в атаку, стоявшую четырнадцати человеческих жизней. Но четыреста партизан об этом не знают. Для них Анна — только член штаба и политлектор.

Не раз отряд выдвигал ее кандидатуру в командиры. Но в последнюю минуту она обыкновенно куда-то исчезала и выжидала окончания бурного митинга. Потом, уединившись с новым командиром, подробно излагала ему план действий. Свою мысль она развивала не очень уверенно, то-и-дело прерывая речь вопросом:

— Ну, что ты скажешь? Каково твое мнение?

В конце концов новый командир начинал повторять ее мысли и отстаивать ее план с такой горячностью и упорством, точно он сам составил его. Тогда Анна неожиданно выдвигала другой, противоречащий первому план, чтобы убедиться, выполнит ли командир именно то, что предлагает она.

Однако последний командир, Зямка Сайбиль, оказался неподатливым. Взволнованно бегая по просторной темной крестьянской хате, он громко кричал:

— Нечего нам торчать тут! Все дороги заняты бандами. Та, что стоит у озера, — невелика. Необходимо пробиться к озеру и итти дальше — к городу.

— Ты предлагаешь атаковать банду?

— Товарищи еще не видели близко вражеской пики. Постреливать издалека умеет всякий. Но при первой схватке под городом они разбегутся.

Зямка глядел колючими глазами на Анну и думал о том, что делает ошибку, не договаривая. Лучше бы прямо сказать ей, что Лопатьев опять нашел себе бабу в деревне и пропадает у нее из ночи в ночь... Остальные подражают ему.

Еще несколько таких дней — и партизан силой не оторвешь от деревни. Но этого Зямка Анне не сказал.

В широких штанах-хаки, в тяжелых сапогах и в папахе Анна казалась еще моложе, женственнее и красивее. Ремешный пояс стягивал ее тонкую талию, выделяя высокую девичью грудь... От ветра и бесконечных скитаний кожа на лице огрубела и побурела... Темные глаза были полны неженской отваги и уверенного спокойствия. Такие спокойные лица бывають у людей, часто и близко видавших смерть.

Анна подошла к Зямке.

— Делай, как знаешь. Ты — командир и несешь всю ответственность. Мы должны выиграть бой, чего бы это ни стоило. Завтра нужно быть на том берегу. Теперь ступай — отдай приказ.

Зямка не проиграл боя, но потерял четырнадцать человек.

Еще будучи в Минске, Анна решила взять на себя руководство в последний момент, когда отряд прочно укрепитя под городом. Поэтому она все эти три недели стояла в стороне, выдвигая новых командиров и через них руководя отрядом.

Но сейчас положение было слишком серьезно. Анна сидела на возу, вслушивалась в отрывочные возгласы партизан и выжидала подходящей минуты для своего вмешательства.

Выкрики относились к последнему командиру — Зямке Сайбилю.

— Будя! Слезай с возу!

— Откудова ему уметь воевать?

— С малолетства у Береля-партача работал!

— Лапти плесть ему, а не армией командовать!

— Надо было их в кольцо взять да нажать со всех сторон, а он в лобовую атаку полез!

— Четырнадцать человек зря погубил!

— С таким командиром всю армию растеряешь, пока до Вильно доберешься...

Зямка Сайбиль — плотный, коренастый парень, с колючими, злыми глазами. Он стоял на возу, на котором расположился его штаб: Анна Богданович и Берка Амдур.

Оба они равнодушно молчали, точно были совершенно непричастны к делу.

Наган в большой кобуре спускался до самых колен Сайбиля, а воротник отставал от шеи на несколько пальцев, как плохо затянутый хомут на лошади. У Зямки был высокий, звенящий голос, который, вероятно, достался ему в наследство от нескольких поколений ремесленников.

— Товарищи! — звенел его голос в густом лесу. — Когда я принял командование, вы находились в двухстах верстах от города. Теперь до него осталось шестьдесят. Факт! Два орудия и двенадцать винтовок вы без единой жертвы захватили под моим командованием. Факт! Я организовал школу для изучения большевистской политики, и три раза в неделю Богданович ведет нам учебу. Факт!..

— И в командиры ты не годишься. Факт! — прервал его Берка Амдур, подымаясь на возу...

Громкий хохот покрыл слова Берки. Но в смехе

этом злобы не чувствовалось: партизанам просто припала по вкусу острота.

Небо собрало последние лучи солнца и развесило их пучками по вершинам сосен и елей, точно детские фонарики. Дразня надвигавшийся вечер, оно играло на верхушках деревьев, прыгало по обветренным лицам партизан, заставляя их жмуриться... Потом свернулось золотым клубком и покатилося далеко-далеко за горизонт — по ту сторону оккупированного города.

Зямка Сайбиля опустился на воз, вытер рукавом шиннели вспотевший лоб. Ему было ясно, что его командованию пришел конец: шутка Амдура подорвала его авторитет. Зямка повернул голову к заходящему солнцу и больше не оглядывался на отряд.

Смоленские кровельщики, высокие, тощие парни с потрескавшимися, обветренными лицами, окружили Лопатьева и, фамильярно похлопывая его по плечу, подталкивали все ближе к подводе-трибуне:

— Поди, отбарабань свою речь, — командиром будешь! Наши все тебя поддержат.

Это было сказано негромко. Лопатьев был в этой стороне чужаком, здешних дорог не знал. Помимо того, у него был крупный недостаток: слишком часто он застревал в деревнях, через которые проходил отряд. Лопатьев возвращался оттуда с усталым, помутневшим взглядом, с большими темными кругами под глазами, с лицом бледным, изборожденным морщинами, точно его сильно помяли прошлой ночью...

— Лопатьев, чорт тебя подери! Опять свадьбу сыграл?..

Лопатьев улыбался, растерянно моргал глазами, но ничего не отвечал на шутки товарищей.

Его тело жаждало отдыха, сна. Все равно, куда бы ни свалиться — на воз, на голую землю — только бы



заснуть! Пролежать целые сутки с закрытыми глазами и с открытым ртом, тяжело храпя от усталости...

Рано-рано, когда новый день еще прячется за лесами, а рассветные тени, как резвые белки, прыгают по разбухшим ветвям деревьев, он проснется, торопливо натянет на отдохнувшее тело кожаные штаны и куртку, еще торопливее оседает лошадь и поскачет на разведку — выследить польские и немецкие банды.

Во всех боях, которые выдержал отряд за три недели, Лопатьев находился в первых рядах. Его большая, широкая фигура носилась по всей линии боя.

Теперь он стоял, окруженный смоленскими кровельщиками, и наблюдал... Он видел, что отряд разбивается на группы, что Берка Амдур держит речь к самому себе, потому что его никто не слушает.

Лопатьев начал вдруг кричать громко и сильно, как будто слова комом застряли в его горле и необходимо немедленно вытолкнуть их оттуда.

— Без дисциплины нет армии! Без дисциплины мы — цыганский табор, и ничего больше! Армия Керенского распалась, потому что дисциплина лопнула... И у нас начинается тот же развал...

— А почему она лопнула? — спросил юный партизан, которого за рыжие, как шафран, волосы прозвали «красной морковкой».

— А самому смекнуть — ума не хватило? Видать, под крышкой у тебя тут пусто? — сказал Лопатьев, щелкая парня по лбу.

Парень сердито огрызнулся:

— Ты свои шуточки побереги для девочек. Говори толком: почему дисциплина лопнула?

— Дисциплина для солдата, — серьезно заговорил Лопатьев, — то же, что заработок для мастерового. Солдат должен знать, за что он воюет. Взять, к при-

меру, меня. В мирное время, когда я крыши крыл, я знал наверняка, что мне за работу заплатят. Верно? Ну, а когда я на войну иду, голову на карту ставлю, должен я тоже наверняка знать, что после войны мне заплатят. А Керенский со всеми своими министрами ничего не могли дать. Оттого, как только большевистские воззвания пришли на фронт, так все солдаты и поняли, что наш брат дерется даром, ни за что... Все и разбежались по домам. Какой расчет даром воевать? Так солдата на фронте не удержишь...

— Стой, стой! — перебил Лопатьева «красная морковка». — А чем тебе Анна после войны заплатит? Своими стриженными волосами?

Кольцо вокруг Лопатьева и рыжего парня стягивалось теснее. Подходили партизаны из других групп, проталкивались ближе к спорщикам. Взгляды становились серьезнее, строже, лица — напряженнее. Лопатьев понял, что затихшая толпа ждет от него ответа и что от этого ответа зависит судьба грядущих боев. Он несколько мгновений подыскивал нужные слова, потом спокойно сказал:

— Ты спрашиваешь, заплатит ли мне Анна после войны? Дурацкий вопрос! Анна мне не хозяйин, я не на нее работаю. Я ведь так, к примеру, говорил. А что мне заплатят, — это я наверняка знаю, уж будь спокоен. Только не деньгами платить будут. Деньги — ерунда! После войны вся Россия — моя будет! Понял?

Лопатьев внимательно вглядывался в лица партизан, стараясь узнать, понятна ли им его мысль. Партизаны молчали, насупившись. Ни одной сочувственной улыбки, ни одного одобрительного возгласа, как бывало прежде: «Крой его, Лопатьев!» Угрюмое молчание...

Лопатьев вдруг заметил, что за толпой партизан стоит Анна Богданович. Стоящие рядом с ней партизаны впились в нее взглядами, стараясь догадаться по ее глазам, по слегка раскрытым губам, согласна ли она с Лопатыевым?

Анна глядела пристально на Лопатьева. Ее глаза сияли гордостью, как глаза матери, слушающей умную речь сына. Губы раскрылись, точно хотели подсказать ему нужные слова.

Лопатьева охватило сильное желание говорить только для нее одной: пусть она увидит, что ее долгие вечерние беседы в темных хатах были небесплодны.

В голове Лопатьева рождаются мысли — много мыслей. Они кружатся вихрем в буйной пляске... Он не может ухватить их... Но чувствует всем своим существом, что все, что он всосал в себя на бурных митингах, в беседах с Анной, весь этот клубок слов и мыслей необходимо сейчас размотать, и тогда его товарищи узнают то, что он знает уже давно...

Это так легко сделать...

В темные ночи, когда он, бывало, лежал, устремив взгляд в звездное небо, в его мозгу рождались образы, мысли, сравнения. Вот только недавно он понял, что старый мир похож на здание с подгнившим фундаментом. Каждый год перекрашивают его стены, каждый год чинят крышу. А дом оседает все ниже и ниже, появляются трещины в стенах и потолке, ржавеет крыша. Но его все красят и перекрашивают...

Чего же хочет он?

Он хочет развалить дом, снести его до основания, стереть самый след его и потом накрыть новой крышей весь мир.

Выразить эту мысль он не решается: боится, что его осмеют. Он начинает говорить о себе:

— Слушай, «красная морковка»! Мой отец тоже был кровельщиком; у нас ремесло переходит по наследству из рода в род.— Он повернулся всем корпусом к рыжему парню, и глаза его позеленели, точно перед ним стоял заклятый враг.— Когда мне было десять лет, отец повел меня на крышу, дал в руки деревянный молоток и сказал: «Держись крепко, сынок, не то — полетишь кубарем вниз. Помни!» Потом каждый день с утра до поздней ночи я лежал, скрючившись, чинил крыши. Был у меня старший брат... Он часто ругал отца: «Клоп ты, а не пролетарий! Плюют тебе в рожу, а ты водкой плевки смываешь!» Я еще мал был и держал сторону отца. За это он брал меня с собой в трактир. Поставит, бывало, передо мной, как перед взрослым, кружку пива и орет на весь кабак: «Пей, Петька,— мастером будешь! Андрюшка книжонками балуется, думает, они ему жрать дадут. Каторгу они ему дадут, Сибирь,— и все тут!» Мастером я не скоро стал, но пиво хлестать научился быстро. Работа наша — тяжелая, летняя: солнце накаляет крышу, железо жжет пальцы, жалит босые ноги; пот течет по всему телу, словно тебя обдали горячей водой из ушата. А польза какая? Хлеб с селедкой лопаешь всю неделю и только по воскресеньям видишь кусок мяса да полдюжины пива в трактире.

Лопатьев забыл, что перед ним партизаны. Что-то сдавило ему горло и грудь. Лицо налилось кровью. Зрачки расширились и поглотили синеву глаз... Теперь его глаза сверкали, как медь на солнце. Он бросил свои слова лесу, темному пространству, как будто хотел, чтобы его услышало ночное небо.

— В японскую войну отца угнали на фронт. Я все ждал и надеялся, что наша тяжелая жизнь перемене-

нится к лучшему: мал был и глуп. Отца убили в Манчжурии. Кто заплатил мне за его кровь? Что изменилось в моей жизни? Опять, как раньше, ели селедку с черным хлебом. Мяса уж и по воскресеньям не бывало. В пятнадцатом году утнали на войну брата. Не хотел он итти. Долго прятался по чердакам да погребам. Домой брат не вернулся. Жив ли, убит ли — не знаю... Ну? Что изменилось? А? Кто мне заплатил, а?

Гробовая тишина стояла кругом. Вопрос Лопатьева повис над головами партизан. Рыжий парень незаметно вышел из круга.

Про митинг забыли.

Весь отряд окружил Лопатьева, и он уже не мог молчать. Буря бушевала в нем. Он бросал новые твердые слова в притихшую толпу.

— Теперь мне все ясно... Во — как мои пять пальцев!..

Он поднял руку, растопырил пальцы.

— Весь путь революции я вижу ясно! — ухватился Лопатьев за последнюю мысль. — Три дня я думал об этом и теперь твердо знаю, что надо делать.

Толпа рванулась с места, со всех сторон напирала на Лопатьева. Он слышал се прерывистое дыхание.

— Говори прямо, что надо делать? — кричали солдаты

— Нужно прорваться в Вильно, укрепиться там и послать в Варшаву и Берлин такую резолюцию...

Лопатьев выхватил из кармана большой лист бумаги, разложил его на пне, подозвал рыжего парня и велел ему писать:

«Мы, Первый отряд, под командой Зямки Сайбиля, который всю свою жизнь был портным и которым помыкал хозяин Арка Тендетник (как Сайбиль сам

мне рассказывал), обращаемся к вам, пролетарии Варшавы и Берлина, и призываем вас начать большевицкую революцию. После того, как вы это исполните, мы соединимся с вами, чтобы вместе бить чехо-словаков, наделавших нам много бед на Урале и помогающих Колчаку, которого без их поддержки мы бы уже давно угробили под Уральскими горами».

Лопатьев вдруг перестал диктовать. Так деревенский гармонист внезапно обрывает веселый мотив... Партизаны все еще стояли кругом, следя за Лопатьевым, прятавшим в карман бумагу. Лунный серп как будто забыл, что обязан освещать много городов и сел, и направил весь свой свет на Лопатьева. В освещенном кругу обрисовалось костлявое лицо смоленского кровельщика. Под тонкой кожей выступили скулы, и, когда он раскрывал широкий рот, казалось, что кожа на лице лопнет.

— А! что ты будешь делать, ежели они нашу резолюцию не исполнят?

— Исполнят! Говорю тебе — исполнят! — закричал Лопатьев, и его охрипший голос звучал так уверенно, будто он говорил не о других, а о себе самом.

— А если нет? — не унимался молодой партизан.

— А если нет, значит — они не пролетарии! Буржуи они, вот кто!

Надвинув ниже на лоб папаху, Анна Богданович отделилась от группы партизан. Ее глаза пытливо перебегали с одного лица на другое, точно она собиралась говорить с каждым из них в отдельности. Круг расступился, очистив место для Анны, но в задних рядах закричали:

— Анна — стань на воз! Тише! Анна будет говорить!..

Анна легко вскочила на воз и тихо заговорила:

— Вот Лопатьев рассказывал о своей тяжелой жизни. Я все слушала и думала, что каждый из вас может рассказать то же самое. У всех у нас молодость одинакова: у одного она начинается в темном подвале, у другого — на тесном чердаке, у третьего — в крестьянской хате. Письмо Лопатьева к польским и немецким рабочим, конечно, надо отправить. Я бы только предложила Лопатьеву передать свою резолюцию в партийный комитет. Там ее переведут на иностранные языки и составят воззвание к рабочим всего мира. Город уже совсем близко от нас. От последних боев зависит судьба революции в этом крае. У меня есть сведения, что немецкая армия может в любой день очистить город. К этому моменту наш отряд должен быть там. Если мы не подспеем вовремя, польские легионеры захватят город и вырежут кучку вооруженных рабочих и Совет, который работает там в подпольи. Надо сейчас кончать митинг и двигаться дальше.

Лесное эхо отражало слова Анны. Казалось, захваченный неприятелем город из-за густых лесов взывал о помощи. Из мрака выплыл Старый город с серыми громадами домов по набережной Вилии, с кривыми улочками предместья, где в пыли и грязи прошло детство многих из партизан.

У партизан закипела кровь. Глаза зажглись боевой решимостью. Итти на помощь товарищам рабочим и Совету, запертому в подпольи, стало общим желанием. И эта готовность, сплотившая массу партизан, вылилась в громких криках:

— Анна, веди нас в Старый город!

— Анна Богданович — командир!

Анна стояла на возу. Ветер играл ее седыми волосами. Повернувшись в сторону города, она наклони-

лась, изогнулась, точно готовилась перенестись туда одним прыжком. Забыла, где находится, не слышала отрывистых выкриков партизан. Перед ее глазами встал образ Людвига Януковского. Сердце Анны обезумело. Горячий клубок подкатился к горлу. Она расстегнула ворот рубашки и сделала несколько бессмысленных движений, точно хотела унять буйство сердца... Но горячая волна прокатилась по всему ее телу, захлестнула и спутала все мысли и слова. Одно неодолимое желание охватило ее, желание, пугавшее ее своей силой.

Анне вдруг мучительно захотелось рассказать партизанам, что в Вильно, в Совете, находится ее муж, Людвиг Януковский, которого она ни разу за всю свою жизнь не видела, что вот уже четыре недели перед ее глазами неотступно стоит видение. Оно следует за ней повсюду: на поле битвы, на собрания, не покидает ее в бессонные ночи. Это видение — предстоящая первая встреча с Людвигом Януковским.

Бывший командир отряда Зямка Сайбиль не знал, что творится в душе Анны. Он порывисто вскочил на воз, как будто только сейчас понял, что было бы позорно в такую минуту обижаться и сердиться на товарищей. Он громко закричал:

— Я тоже голосую за Анну! Я все время говорил, что Анна должна быть командиром. Она сама не хотела.

Анна вздрогнула. Обвела взглядом четыре сотни партизан, тесным кольцом окруживших воз. Они глядели на нее строго и возбужденно: ждали, чтобы она повела их на выручку города...

Анна поняла, что каждый из них бережно хранит в душе глубоко скрытую любовь к покинутой жене, детям, невесте... Но ни один ни словом не упоминал о них.



Анна собрала все свои силы и сухо скомандовала:  
— На коней!

И первая вышла из круга...

Партизаны весело побежали к отдохнувшим коням, к тачанкам, к винтовкам, сложенным в козлы. Луна, скрывшись за верхушки деревьев, бросала на поляну неровные световые пятна.

Зямка Сайбиль затынул песню. Много лет тому назад эту песню сложили в сырых подвалах еврейские чулочницы. Позднее она звенела на улицах и баррикадах литовских и польских городов...

Брат мой, мы крепко с тобою  
Спаяны в общем строю.  
Держим мы твердой рукою  
Красное знамя в бою...

Лопатьев подхватил хорошо знакомую песню (Зямка часто напевал ее). Кони перебирали ногами в такт звукам. Вечерний ветер подхватил звуки на свои молодые крылья, унес их в спящий лес, как последние следы первого партизанского похода на Вильню...

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

### ЯНКЕЛЬ МАРАТ

Янкель Марат — единственный из коммунаров Совета, который много говорит о революции, ее путях и величии.

Военнопленные не могут понять, отчего он так радостно светел... Они считают его не вполне нормальным и сторонятся.

Янкель бегаёт по комнатам Совета — ищет Юлиса. Шапка сдвинута на затылок. Виски острыми углами глубоко врезаются в высокий, покаты́й череп. Засаленный, рваный, расстегнутый пиджак открывает грязную солдатскую рубаху без единой пуговицы. Два тонких шнура, поддерживавших воротник, оборвались и висят на короткой голой шее, точно стрелки. Когда Янкель говорит, шнуры-стрелки приходят в движение, прыгают вверх и вниз, как бы измеряя степень волнения их хозяина.

Много кипучих мыслей заполнило голову Янкеля, мыслей далеких, отвлеченных, ничего общего не имеющих с положением дела в Совете. Как зачарованного, гонят они Янкеля по комнатам Совета, с ужасающей быстротой снуют в его разгоряченной голове, путаются, сплетаются и выхватывают из памяти многое забытое и далекое...

Янкель знал, что теперь надо молчать, что сейчас никому не пужны его революционный энтузиазм, его отдаленные мечтания... Но он не в силах был сдерживать себя. Взбунтовавшаяся кровь гнала его вперед; он пьянел от собственных слов и падал обессиленный и пристыженный.

Долгие годы молчал Янкель, таскал на широкой согнутой спине тяжелые тюки бумаги на складе Дубинского и ждал революции.

А революция не приходила.

В нетерпении, в бесплодном ожидании он метался от одного анархистского кружка к другому, отрекся от Бакунина ради Кропоткина и в конце концов выработал собственную теорию.

Вокруг Янкеля вечно толпились какие-то оборвыши, отверженные души,— люди без определенной профессии, не имеющие места в жизни. Они легко признали его вождем, прислушивались к его горячим бултарским речам; в них они находили высшее оправдание своей инстинктивной ненависти к богатому, властному городу, обрекшему их с малолетства на голод и скитания... И клубок ненависти, сотканный из повседневных обид, подкатывался к каменным громадам города, тая в себе взрывчатую силу мятежа...

Но Янкель, погруженный в свои отвлеченные теории, не пытался связать даже своих учеников в сплоченную группу. После нескольких горячих бесед они его покидали и уходили каждый своей дорогой...

Революция каждый день стучалась к нему в окно, и он всегда был готов выйти к ней навстречу, отдать ей свои надуманные туманные истины, чтоб не дать никому увлечь ее на другой и ложный, по его мнению, путь.

Янкель родился и вырос на Резницкой улице, где

запах ободранных бычьих туш смешивался с резкими выкриками тряпичниц, сидевших над кучками тряпья, точно над детскими могилками.

Родился на улице, пропитанной торгашеским духом и проклятиями, на улице, где лавочники грызутся из-за покупателя, как голодные псы из-за кости у мясной лавки...

Он был сыном грузчика. Ему не было еще десяти лет, когда отец впряг его в телегу жизни: взвалил на его детскую спину тяжелый тюк бумаги... Отец желал, чтобы сын его покорно, безропотно таскал эту тяжесть всю жизнь до последнего вздоха...

Янкель не покорился.

Янкель с юных лет пристрастился к чтению книг. Он читал их с такой же жадностью, с какой ел товарищи, грузчики, пили водку. Ночи напролет просиживал при коптящей керосиновой лампочке над грудой книг: старался понять ошибки прошлых революций.

Спит ночь за низеньким окном. Изредка прозвучат и замрут вдали шаги запоздалого прохожего. Снова тихо на узенькой улице. Огни у соседей потушены. Семья спит, убаюканная усталостью и голодом. Ребенок вскрикивает со сна, беспокойно ворочается на сеннике, дрыгает голыми ножками, будит спящих рядом братишек... Янкель не замечает, что жена его сползла с кровати, переложила беспокойного ребенка на другой бок и убаюкала сказкой и нежным шопотом.

— Янкель, уже два часа, а ты еще не спишь! Ты же не сможешь выйти завтра на работу.

Янкель глядит на нее далеким, блуждающим взглядом. Его широко раскрытые глаза блестят. Морщины на лбу разгладились. На обросшем лице светятся радость и удовлетворение. Он не слышал ни плача ре-

банка, ни слов жены. Восстания, бунты, революции всех времен и стран раздвинули стены его тесной комнатки и встали перед его глазами. Янкель стоит перед их строем, высоко подняв голову, и бросает им свой суровый приговор:

— Не надо было выходить на баррикады, пока вы не проверили самой идеи, за которую пролили свою кровь. Не надо было!

— Янкель, тише: ты разбудишь детей...

Только теперь он чувствует, что смертельно устал от дневной работы и ночного чтения. Он закрывает книгу, с минуту еще держит ее в больших, заскорузлых руках, как будто ему тяжело расстаться с ней, потом засовывает ее под кровать в грудку других книг и, шатаясь от усталости, бредет к своему сеннику...

Книги лежали отдельными пачками под деревянной кроватью. Другого места для них в комнате не нашлось.

Дети его не имели игрушек. Они играли толстыми запыленными книгами, мастерили ветряную мельницу из «Великой французской революции» и радостно хлопали в ладоши, когда толстые листы ритмично падали на пол...

Каждый день у Янкеля возникали споры с женой. Янкель сердился за то, что дети растаскивают и рвут книги. Но жена его не была виновата: она делала все возможное, чтобы спасти книги и рукописи от беспокойных детских ручек.

Всей душой она верила, что скоро-скоро осуществятся его мечты и надежды, и все соседи увидят, что ее Янкель не сумасброд. Но пока не пришла революция, женщина простаивала каждое утро перед дышащей жаром печью, выпекая хлеб для соседних булочных, и каждые два года рожала по ребенку.

Янкель этого не замечал. Не замечал и того, что кожа на лице жены желтеет, становится прозрачной, живот с каждой новой беременностью обвисает все больше, крути под глазами делаются глубже и темнее.

В тот день, когда Янкель узнал, что в России вспыхнула революция, увесистый тюк бумаги застрял на лестнице: Янкель не донес его до склада. Он скинул засаленный, грязный передник, побежал наверх и, захлебываясь радостью, громко объявил:

— Завтра на рассвете я уезжаю в Россию. Рабочие бьются там за свою свободу и права, и я должен быть с ними!

В устах другого человека эти слова звучали бы напыщенно и сухо, отдавали бы искусственным пафосом и позой. Но Янкель произнес их с подкупающей искренностью и простотой.

Не помогли ни слезы и мольбы жены, ни плач детей. Еще не рассвело, а Янкель уже метался с виноватым видом по комнате. Уложил в просторный мешок краюху черного хлеба, две селедки, несколько книг, объемистую пачку рукописей и убежал из дому.

Шесть месяцев Янкель пробыл в России, а на седьмой, снова перевалив через многочисленные границы и заставы, вернулся в Вильно.

Как он жил в России? Что делал там? Это осталось неизвестным...

Одни говорили, что он несколько раз ходил к Ленину: хотел поделиться с ним своими мыслями. Но Ленин никак не мог урвать время, чтобы принять его. Другие рассказывали, что Янкель с группой анархистов захватил пустующее помещение магазина на Тверской улице. Перед аудиторией, состоявшей из веселых матросов, проституток и случайных прохожих, Янкель горячо отрицал существование внешнего мира

и, оперируя фактами, доказывал, что все законы природы — выдумка буржуазных философов. В действительности таких законов не существует до тех пор, пока человек не «откроет» их. Момент «открытия» закона и есть момент его рождения.

Веселые матросы и проститутки с наслаждением лужгали семечки, ничего в его путаных теориях не понимали, но из магазина не уходили. Они с любопытством разглядывали толстые, мясистые губы Янкеля, подбородок, выступавший острым треугольником, два больших беспокойных глаза под густыми бровями. Но больше всего их удивляло то, что он так быстро и так плохо говорит по-русски.

Несколько недель на шумливой Тверской улице красовалась большая черная доска, крупными буквами оповещавшая жителей Москвы о том, что Янкель Марат (так стали его величать) отрицает существование неба, земли, солнца, атмосферы... всего внешнего мира.

Сам Янкель ничего не рассказывал о своей работе в России. Он попрежнему гнул спину под тяжелыми тюками бумаги и еще более отдалялся от местных меньшевиков.

В Совет он явился возбужденный, отыскал в боковом зале заседаний Юлиса и отрывисто объявил:

— Я пришел к вам за гарантиями. Я требую гарантий в том, что на этот раз вы не обманете.

Удивленный Юлис оглядел маленького, слегка сутулого еврея в рваном пальто и сапогах, так густо облепленных грязью, точно он старательно собирал ее по всем закоулкам предместья...

— Кого не обманем? — не понял Юлис.

— Рабочий класс. Народ.

— Кто вы такой?

- Янкель Асс, грузчик.
- Вы принадлежите к партии?
- Я принадлежу себе и моему революционному сознанию. Я знаю способ уберечь революцию от ложных путей и напрасных жертв.
- За вами стоит группа?
- Восемь последователей, не связанных никакой организацией.
- Много среди них рабочих?
- Трое рабочих. Пять человек — с улицы.
- Вы давно работаете грузчиком?
- С десятилетнего возраста.
- Где вы работаете?
- На бумажном складе Дубинского, по Резницкой улице.

— Каких гарантий вы требуете от Совета?

— Не от Совета — от вас лично. Я слушал вас на массовом митинге и понял, что вы не из тех подаглических революционеров, что ползают на четвереньках перед всякой властью и готовы продать революцию, лишь бы не задеть фетиша — государства...

Юлис прервал Янкеля:

— Говорите конкретно: каких гарантий вы хотите?

— Я хочу, чтобы вы дали мне гарантию в том, что после того, как мы захватим власть в крае, вы отдадите в мое полное распоряжение одну из панских усадеб — для моих социологических опытов.

— Я вас не понимаю.

— Это только доказывает, что у вас чисто практический ум, а мыслить историческими категориями вы не умеете. Ведь это так просто: мне нужно место, где я мог бы без помехи установить, какая система управления гарантирует абсолютную свободу и не вызовет реакции и нового гнета.



— Каким путем вы думаете это установить?

— В усадьбе, которую я получу, будет находиться до трехсот человеческих индивидуумов. Первый месяц мы будем жить отдельными маленькими кланами. Второй — при феодальном строе. Третий месяц отведем монархическому режиму. Четвертый — республиканскому. Пятый — диктатуре. Та система, которая даст людям больше радости и счастья и обеспечит абсолютную свободу и абсолютное равенство, будет принята и декретирована сначала для России, а затем — для всех восставших народов.

Янкель огляделся и заговорил тише, точно соби-  
рался доверить собеседнику великую тайну:

— Все несчастья и ошибки прошлых революций коренятся в ложном методе. Народ призывали к оружию, требовали от него десятков тысяч жизней, лучших сыновей и дочерей, и ни разу не позаботились предварительно подвергнуть испытанию ту идею, за которую боролись. А может, она-то и не годится? Идею необходимо раньше проверить на опыте: надо дознаться, не таит ли она во чреве своем незаконный плод, который, выросши, превратится снова в угнетателя?..

Юлис еще не решил: высмеять ли ему этого сумбурного анархиста или вступить с ним в дискуссию? Он ограничился пока кратким замечанием:

— Феодализм крестьяне всех стран испытали на своих спинах. Республиканскую систему рабоч...

Янкель прервал его:

— Ложь! Ложь! Чистейшее заблуждение! Все государственные системы — в прошлом и настоящем — были и остаются смешанными. Республиканская система сохранила в неограниченном количестве элементы монархизма. Я произведу свой опыт в чистых формах, как они отлились в истории. Я буду эксперимен-

тировать на человеческом материале, как химик, как исследователь-натуралист. И я доберусь до истины.

Тут произошло нечто странное.

Юлис не засмеялся. Он устоял против соблазна спросить Янкеля, кто будет президентом в его туманной республике, кто будет царем в его монархии и какую форму будут носить городовые? Перед Юлисом стоял согбенный грузчик. Тоска и тревога заволокли его взгляд. Острый, энергичный подбородок дрожал. Толстые губы все еще шевелились — искали в памяти новых аргументов. Янкель возбужденно зашагал по комнате. Было в его голосе нечто, говорившее помимо его надуманных, путаных мыслей. Вместе со словами Янкель выбрасывал окровавленные куски сердца, полного великого страха за судьбу революции. И это заставляло верить ему и слушать его.

Юлис вдруг приблизился к Янкелю, положил руку на плечо и доверчиво, как близкому человеку, сказал:

— Янкель, позвольте мне говорить с вами, как с другом, а не с идейным противником. Я понимаю, что вы многое передумали и пережили, прежде чем пришли к вашей теории. Но ваши идеи фантастичны и ни на что не годны. Они ничего не дадут революции, а вам лично принесут лишь смятение и горькое разочарование. На кой черт понадобилась вам вся эта игра в государственные системы?

Янкель высвободил свое плечо и отступил на несколько шагов. Лицо его покрылось морщинами и стало злым, голос — сухим и крикливым. Слова падали теперь в тихой комнате, как камни в разбитое окно:

— Для меня это — не игра. Я не хочу, чтобы будущие поколения, через тридцать или пятьдесят лет, были вынуждены вновь проливать свою кровь для того, чтобы разрушить то самое здание, которое я

строю теперь собственными руками. Здешние социалисты считают меня сумасшедшим потому, что я говорю правду,— я хорошо их знаю. Ползучие революционеры! Они и теперь уже ползают на четвереньках и лизут сапоги у власти. Они смотрят на государство, как на железную броню, которая охраняет их адвокатские кабинеты. Я хочу гарантии! Я хочу быть уверен, что больше нас не надуют!

Юлис сидел у стола безмолвный. Янкель стоял посреди комнаты нахмуренный и злой. Он нетерпеливо ждал, чтоб Юлис заговорил. Медленно, тоскливо тянулись минуты.

Много раз уже Янкель поверял людям свои продуманные, выстраданные истины. Он все надеялся, что кто-нибудь поймет их и даст ему возможность претворить их в жизнь. И всякий раз встречал вместо доверия, сочувствия и ободрения вражду, насмешки и филистерскую болтовню. Янкель не упал духом. Наоборот, еще с большим упорством искал в тесной комнате, при свете коптящей лампочки, новых доказательств своей правоты. Он ведь желает немногого: оградить рабочий класс от ложных путей и напрасных жертв. Местные обыватели проповедуют социализм точь в точь, как их отцы лавочники трактуют избитый текст: «В будущем году — в Иерусалиме»<sup>1</sup>. Это не мешает им пока что торговать и барышничать на всех рынках диаспоры<sup>2</sup>. Эти либеральные обыватели ему не сочувствовали. Да он и не желал их сочувствия. Он счел бы позором и оскорблением для себя,

<sup>1</sup> Этим текстом-пожеланием заканчивают молитву в судный день.

<sup>2</sup> Диаспора — греческое слово, означающее — рассеяние. Так называли евреи страну, в которой им приходилось жить в изгнании, после потери своей политической независимости.

если бы они оказались солидарны с ним. Но сейчас перед ним сидит и молчит Юлис — тот самый человек, который вооружил рабочих и готов в любую минуту выйти на улицу!

Голос Юлиса вывел его из задумчивости.

— Янкель, подите сюда! Дайте руку и будем работать вместе. Для меня ясно, что ваше место — в Совете, среди нас. Никаких гарантий я дать вам не могу. И ваши опыты также ничего вам не гарантируют. Если бы мы могли вынуть из грудной клетки и показать вам наши сердца, вы поняли бы без слов, что мы боремся не для того, чтобы переменить вывески на государственных учреждениях. Нет! Не для того призываем мы к оружию рабочий класс! Меньшевики, или, как вы их называете, «ползучие революционеры», хотят только переменить вывески, чтобы потом со спокойной совестью усесться в старые кресла. А мы хотим сломать эти вывески вместе с учреждениями — и не только с учреждениями... Вот гут коренится ошибка ваших надуманных теорий и всех других анархистских разглагольствований. Мы — смелее. Впервые в истории рабочий делает свою собственную революцию! Мы либо истечем кровью, либо разрушим государственную систему вместе с классами, которые ее породили и которые она защищает. Вы боитесь новых идолов власти? Я их не боюсь! Мы не только уничтожим идолов власти, но и самые условия, которые создают их!..

Юлис устыдился собственной риторически-трескучей фразы и прервал свою речь вопросом:

— Вы читали «Государство и революция» Ленина?

— Нет.

— В таком случае, я говорю впустую... Я только плохо передаю его мысли.

Быстрым шагом Юлис вышел в другую комнату, долго копался там в груде книг.

Янкель ждал. Стоял, опершись о стол. В глубине души чувствовал, что он уж не уйдет отсюда: Юлис был первый человек, говоривший с ним серьезно, как с равным.

— Вот книга.

— Такая тоненькая?

— У него не было времени закончить ее. Хотите — я прочту вам последнюю страницу, где Ленин говорит, что делать революцию — тяжелее, чем писать о ней.

— Нет, не надо! — испугался Янкель. Он опустился на стул и стал рассматривать книгу...

Она была отпечатана еврейскими буквами на серой оберточной бумаге, а на обложке значилось:

ЕВРЕЙСКАЯ  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

*Пролетарии всех стран, соединяйтесь!*

Н. ЛЕНИН (В. И. ИЛЬИН)

ГОСУДАРСТВО  
И  
РЕВОЛЮЦИЯ

ИЗДАНИЕ  
ЕВРЕЙСКОГО КОМИССАРИАТА  
Москва — 1918

— Янкель! сказал Юлис.— Я уверен, что, когда вы прочтете эту книгу, вы придете к нам. Наш сегодняшний разговор должен быть последним. У меня нет больше времени для дискуссий.

Не ответив ни слова, Янкель застучал грязными сапогами по направлению к выходу. Юлис нагнал его у самой двери.

— Если вы вернетесь к нам, не забудьте привести с собой троих рабочих, которые имеются среди ваших учеников. Я хотел бы с ними поговорить.

Янкель покосился на него.

— Вы в продолжение всей нашей беседы не забывали об этом?

— Если вы не обидитесь, я скажу вам правду: если бы вы были один, я так долго с вами не дискутировал бы.

— Вы — ловите души?

— Нет. Вы плохо поняли меня. Мы — накануне серьезных боев, а людей у нас пока маловато.

Никто не узнал, что пережил Янкель за эти пять дней.

Неизвестно также, что сделал он с пачкой анархистских книг и собственных рукописей.

На шестой день Янкель пришел в Совет и уже не покидал его. С книгой Ленина он не расставался. На бурных собраниях, на совещаниях — всюду книга была при нем. В узкое пространство между строками Янкель вписывал новые собственные строки. Желтые страницы были испещрены его красным карандашом. Поля и все другие чистые места он заполнил восторженным поклонением Ленину. Целые страницы он выучил наизусть и, бегая по комнате, не переставал кричать военнопленным: «Это — последняя революция! Последняя! Вот — читайте!»

Но воспиоленные его не понимали и поворачивались к нему спиной. Он уходил к Хаимке, своему бывшему ученику, сидевшему теперь у окна и обстреливавшему темноту...

— Понимаешь, Хаимке, ведь это — счастье, великое счастье — закончить то, что начали прошлые поколения! Довести до самого конца! Чего я боялся всю жизнь? Меня пугала мысль, что мои братья прольют свою кровь за болтунов-адвокатов. От всех прошлых революций выигрывали адвокаты, а теперь я знаю, что эта революция — для меня, для тебя...

Янкель вдруг замечает, что в лице Хаимке нет ни кровинки и глаза его слипаются... Янкелю становится стыдно за свое многословие, за бесцельную беготню.. Он прячет книгу в боковой карман и берет из рук Хаимке винтовку:

— Поди — приляг. Я за тебя постреляю в панских прихвостней...

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

### ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ

Ночь. Тьма, хоть глаза выколи. Улица спит, истомленная двухсуточной непрерывной пальбой. Где-то совсем близко ветер дребезжит оторванным куском жести. Монотонно и равномерно звякает она, ударяясь о стену.

В разбитые окна текут холод и тьма. Мрак так густ, что его можно ощупать рукой. Ночной холод блуждает по пустым пороховым ящикам, пробирая до костей спящих военнопленных.

Они лежат вповалку — все в одном углу. Страх и голод согнали их в одно место. Тяжелый храп разносится по комнате, наполняя ее затаенной тревогой...

Изредка кто-либо из военнопленных вскакивает со сна, садится на пороховой ящик, глядит расширенными глазами в темноту, не соображая, где он находится и как сюда попал... Минуту, две, три сидит он растерянный, пока не услышит мерный шаг часового. Тогда голова его снова опускается на собственный кулак.

Иногда кто-либо закричит со сна диким, придуренным голосом. Тогда Юлис отрывается от окна, спокойным шагом направляется в угол комнаты, находит в клубке тел крикуна и будит его:



— Перестань кричать! Никто не гонится за тобой. Ну, будет,— успокойся.

Военнопленный чувствует на своем плече чужую руку. С усилием раскрыв глаза, смотрит на Юлиса и спрашивает:

— Зачем ты будишь меня?

— Перестань кричать: ты пугаешь товарищей.

Военнопленный вскакивает на ноги:

— Я буду кричать! Пускай все услышат! Где ваши красногвардейцы? Выдумали сказку для дураков...

Юлис, не отвечая, надвигается всем телом на солдата, оттесняя его к другой стене, в свободный угол. Хрипло спрашивает:

— Чего ты хочешь?

— Надо сдаваться!

Юлис вытаскивает из кармана револьвер, в котором из семи зарядов осталось два: Юлис бережет их для себя самого.

— Если ты еще раз произнесешь это слово, я тебя на месте уложу! Понял?

Солдат съеживается и прижимается к стене.

Юлис возвращается к окну.

Угол снова погружается в тяжелый сон.

Пять коммунаров знают, что это — последний день. Знают.

Если в эту ночь не придут партизаны из России, то утро принесет с собой бунт, катастрофу, гибель...

В Совете нет хлеба. Нет зарядов. Польские легионеры стоят в тридцати шагах от дома. Окружив Совет со всех сторон, терпеливо ждут, уверенные в победе.

Четверо коммунаров стоят у выбитого окна, устремив взгляд в черную ночь, и ждут помощи. Где-то в тайниках сердца тлеет детская надежда, что ночь бу-

дет тянуться бесконечно... Серая полоса света, появившаяся из-за высоких домов, пугает их... Она ширится и светлеет. Хаймке Сайбиль первый замечает ее:

— Уже светает!

Его товарищи продолжают упорно глядеть в темноту, точно сговорились не замечать рассвета.

Людвига между ними нет. С Людвигом вчера вечером произошло нечто странное.

Он вдруг заметил, что весь оброс и очень грязен. Долго бегал по Совету, разыскивая бритву у военнопленных. Юлис решил, что Людвиг задумал перерезать себе горло, и стал внимательно следить за ним. Но Людвиг не собирался кончать с собой. Он нацедил из остывшего пузатого самовара воды, развел мыло и приступил к бритью. Давно неточенная бритва была тупа, а волосы на подбородке — грязны и жестки. Бритва скрипела, скребла и часто застревала в пучке волос... Людвиг стряхивал на пол нерастворившиеся комки мыла вместе со срезанными волосами и с каждым взмахом бритвы становился оживленнее, точно сваливал с себя тяжелую ношу.

Потом долго мыл плохо выбритое лицо дождевой водой из заплесневелой бочки.

Сейчас он в боковой комнате — пишет письмо. Пишет лихорадочно быстро, часто вскакивает с места, бегает по комнате и снова садится за стол. Голубые глаза широко раскрыты, но ничего не видят: ни тьмы за окном, ни лампочки на столе. Кривые польские буквы набегают одна на другую, прыгают в дикой пляске по бумаге...

Но вот пляска оборвалась. Людвиг подходит к окну и читает вслух Старому городу и серому рассвету:

«Анна, жена моя! Мне осталось жить несколько часов, и я ни о чем не могу думать. Смерть уже сту-

чится в дверь Совета. Я вскрою себе вены либо пушу пулю в лоб и до последнего вдоха буду громко кричать: «Я хочу тебя увидеть!» Я умру спокойно, Анна! Так же спокойно, как Юлис, Станислав, Хаимке, как все мои товарищи... У них в кармане нет писем от тебя... Вот я рву его, твое письмо... Теперь мы все — равны... Равны, Анна! Двенадцать лет я ждал встречи... Какое у тебя лицо, Анна? Почему я никогда тебя не видал?»...

— Юлис, ты? Хорошо. Сядь. С отрядом, который направляется сюда из Минска, идет моя жена, Анна Богданович. Я никогда не видел ее. Мы поженились, соединив наши руки через продырявленную стену варшавской тюрьмы. Потом Анна пошла в ссылку, а я бежал из тюрьмы. Только что я уничтожил ее письмо.

Силы Людвиг угасали. Он в изнеможении опустился на стул... Был бледен, как смерть; только глаза горели лихорадочным огнем...

Юлис стоял у двери... Молча глядел на бескровное лицо Людвиг. Тихо сказал:

— Людвиг, дай слово, что не обидишься...

— Говори...

— Уходи из Совета. Я прикажу патрулю тебя пропустить. Второй двор выходит в переулок. Одного человека они, может быть, не заметят.

Людвиг как-то сразу успокоился. Встал, подошел вплотную к Юлису, положил руку на его плечо и холодно сказал:

— Спасибо, Юлис. Я уйду отсюда вместе с вами. Мужественно умереть, как подобает революционеру, так же необходимо, как...

Он не договорил: снизу донеслись выкрики:

— Дайте оружие! Нечем обороняться!

- Не хотим погибать здесь!
- Никто не придет.
- Брехня это все — про красногвардейцев!
- Никто сюда не идет...
- В окопах гнил, в плену — и цел вышел. А тут — голову отдавай!..
- Не желаю драться ни с кем! Мне жена и дети дороже вашего Совета.
- Выйдем и скажем: мы случайно в Совете застряли. Мы — военнопленные и идем домой.
- Они в нас стрелять не станут.
- Отпустят по домам...
- Легионеры стоят у ворот. Выкидывай белый флаг!
- Давай сигнал, что сдаемся!

Серое утро. Железные крыши побелели от инея. Камни скользки, затянуты ледяной пленкой... Против Совета — деревянный забор, ветхий и гнилой.

Сорок сдавшихся военнопленных вытянулись в шеренгу, лицом к забору. Лица их смертельно бледны и так похожи одно на другое.

По обе стороны забора бегают легионеры и кричат:  
— Открывай рты!

У одного из сдавшихся со страху свело зубы. Он из последних сил пытается, но не может оторвать нижнюю челюсть от верхней. Польский сержант озябшими руками разрывает рот солдату. Так раздвигают челюсти теленку, чтобы вставить бутылку молока.

Рот раскрылся. Струя крови хлынула из него. Сержант повернул голову окровавленного солдата.

— Револьверы в рот!

Теперь у каждого из солдат торчит во рту дуло револьвера. Зубы стучат о холодный металл.

— В Совете никого не осталось?

Солдат с окровавленным ртом ответил:

— Шестеро остались.

— За каждый выстрел из Совета я расстреляю троих из вас — по очереди. Ступай, объяви им...

Солдат вышел из ряда и побрел к Совету.

Афросьев не ушел из Совета с остальными военнопленными. Он сидел одиноко в углу большого зала и сосал цыгарку. Очень медленно втягивал в себя дым, не сбивая пепла с папиросы: знал, что каждая последующая затяжка приближает его еще на один шаг к концу. Погаснет мерцающий огонек папиросы — и угаснет жизнь крестьянина-бедняка, который возвращался из плена домой...

Он бросил докуренную до корешка папиросу на пол, долго затапывал ее обеими ногами и пошел по направлению к подвалу. Еще на лестнице он стал кричать, точно криком хотел заглушить страх смерти:

— Братя, я не хочу быть псом!.. Не хочу! Вон они стоят там... Товарищи, пристрелите меня! Самому мне невмочь!.. Я — человек темный...

Он бросился наземь, и его искаженное лицо и сжатые губы были обращены к ним с мольбой.

Невыносимо тяжело было смотреть на его муку. Пятеро коммунаров подняли его с земли и отвели назад, в пустой зал.

— Иди, Афросьев, во двор... Не надо...

Афросьев схватил руки Людвига и стал целовать их... Потом без шапки, в расстегнутой шинели, с растрепанными волосами и диким взглядом выбежал во двор и хриплым голосом закричал:

— Нате, стреляйте! Собаки вы!.. Вон там...

Он не мог договорить и только простер руки к Совету, к покинутым коммунарам. Пена выступила на его губах, и он вцепился зубами в собственную руку...

Четверо легионеров вывели его со двора и велели бежать.

Афрось в побежал вдоль забора, перепрыгивая через лужи и снежные кучи... Он сгибался все ниже и ниже... Споткнувшись, упал и дальше уже не бежал, а полз на четвереньках... Ноги его запутались в желтых обмотках.... На одно мгновение он остановился. И вдруг выпрямился, обернулся к бледным, окаменевшим военно ленным, к четырем легионерам, и отчаянно закричал:

— Стреляйте в лицо, панская сволочь!

Он упал на спину. Его рыжая борода была обращена к светлевшему небу, закинутые руки — к Совету..

Пятеро обреченных коммунаров спускались с лестницы в подвал. Несколько минут простояли они у пороховых ящиков, не решаясь взглянуть друг на друга. В верхнем зале уже были легионеры. Их тяжелые шаги гулко звучали во всех углах и проходах. Они искали ход в подвал.

В мертвящей тишине Людвиг спросил:

— Кто первый?

Юлис подошел к Людвигу. Несколько мгновений глядел в его голубые глаза. Лицо Людвиг было спокойно, только на высоком лбу выступили капельки пота.

Юлис сиделся что-то сказать, но ни одного слова не сорвалось с его запекшихся губ. Он крепко обнял Людвигу, поцеловал и тотчас отошел от него, точно

боялся, что не выдержит и расплачется. Тонкие губы искривились, и все заметили, как он проглотил подступивший к горлу комок... Потом выпрямился и поднес к виску темное дуло нагана.

— Товарищи, пойте... Легче будет...

Отвернув головы, коммунары запели хриплыми голосами.

Юлис упал на пороховой ящик. Глубокие глаза медленно закрылись.

Худошавое тело соскользнуло с ящика и осталось лежать, скорчившись, у стены...

Товарищи продолжали петь...

Людвиг опускается наземь рядом с мертвым Юлисом, одной рукой подымает его голову, обнимает его, другой подносит дуло револьвера к виску.

Они лежат оба, сплетясь в объятии.

Теперь поют трое...

Внезапно раздается дикий вопль:

— Я не хочу умирать!

Отшвырнув в сторону револьвер, Хаимке просовывает свою юную голову в черную дыру камина.

Поют двое...

Шаги польских legionеров приближаются к подвалу. Они уже на лестнице.

Янкель успеваеет сказать:

— Я последний, Станислав... Последний...

— А этот мальчик?

— Они его замучают!..

Старый Станислав подымает револьвер Хаимке, на цыпочках подкрадывается к камину и трижды стреляет в вздрагивающую спину юноши. Потом приносит его труп к Людвигу, старческими, дрожащими губами целует его измазанный сажей лоб и падает мертвый рядом с ним...

Голос Янкеля вырывается из подвала, бежит по ступенькам вверх, звенит во всех углах дома, отчетливо слышен легионерам.

— Это— последняя революция! Послед.....  
.....Тишина. Оцепенение. Смерть. Подвал утопает в крови. Польские легионеры стаскивают с неостывших еще тел сапоги, шарят в карманах и бегут, перепуганные, назад, как будто пять мертвых коммунаров преследуют их по пятам...



## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

### ПОХОРОНЫ

Шесть узких деревянных ящичков, покрытых красной материей, плывут над тысячеголовой толпой. Не видно ни рук, ни плеч несущих их.

Издали кажется: шесть легких красных кораблей плывут в синеве, под солнцем, к далеким берегам.

— Их нашли в госпитале св. Якова. Неизвестно, кто их туда перенес. Лежали все рядом.

— Босые. Легионеры стащили сапоги с мертвецов.

— Военнопленные изменили. Выставили в окно белую рубаху и с поднятыми руками выбежали во двор.

— Красногвардейцы опоздали на четыре часа...

— А где были виленские социалисты?

— Дискутировали по вопросу о диктатуре и демократизме и смотрели, как они истекали кровью.

— Теперь они здесь. Пришли речи говорить...

— Их к братской могиле и подпускать не следовало. Гнать их надо отсюда!

— Траурную повязку на рукаве носить легче, чем винтовку в руках.

— Глади, как суетятся, точно город освободили они.

Голубое прозрачное небо приберегло много солнца

для дня похорон. Солнце висит на знаменах, на деревянных гробах, забирается в людские ряды.

Кому оно нужно сегодня? Кто его заметит?

Из Снопешек, из Рузулы, Зверинца, Новгорода, Поплав, с Немецкой, Еврейской, Завальной и Резницкой улиц — со всех концов и окраин, из темных подвалов и домов течет людской поток.

Густая сорокатысячная масса медленно движется через Старый город. Она захватывает по пути новые толпы и шагает под барабанный бой, под похоронный марш и колыханье знамен, приближаясь к Кафедральной площади.

В первом ряду, кутаясь в желтый платок, идет жена Янкеля. Всякий раз, когда меняются товарищи, несущие гробы, она выбегает из рядов и громко плачет. Она оплакивает мужа так же, как оплакивали своих мужей ее мать, бабушка и поколения еврейских жен...

Ее пугают эти многочисленные ряды провожающих, обнаженные шашки вокруг гробов, колыханье сотен красных знамен и флагов и больше всего — траурный марш.

Едва слышит она эти тяжелые жуткие звуки, как ей начинает казаться, что небо, земля, дома, весь мир прощаются с ее Янкелем и ей, маленькой, незаметной женщине, здесь нет места. Звуки перекатываются через ее голову, как громовые раскаты, строгие, далекие, мощные, и уносят Янкеля все дальше и дальше от нее...

Он принадлежит всем...

Как только красные партизаны вошли в город, они взяли его тело, положили в один ряд с другими жертвами, накрыли красной материей и приставили торжественно-молчаливый караул.

Днем и ночью к гробам подходили молчаливые ко-

лонны рабочих и, простояв несколько минут у изголовья, уходили. И снова приходили толпами чужие люди. И снова сменялся караул у гробов. Ей позволили остаться у гроба Янкеля, но поговорить с ним, сказать ему все, что переполняло ее сердце, ей не удавалось.

Теперь она шагает в первом ряду, затерявшись в строю чужих людей.

— Он принадлежит революции,— объяснил ей какой-то незнакомец в кожаной куртке.

Ее затуманенный мозг и разбитое сердце не могут этого осмыслить.

Ну, что потеряли бы они, если бы она забрала его к себе в дом, на Резницкую улицу, и там вместе с детьми и родными оплакала его?

И с чего вдруг эти красногвардейцы — весь отряд объявил себя отцом ее четырех сирот?

Как сможет целый полк быть отцом и вырастить ее детей?

И почему так ласков с ней командир отряда — эта молодая женщина с седыми волосами и темными глазами?

Вчера вечером, когда, усталая, в полуобморочном состоянии, она упала на лавку и заснула, ей послышался плач. То плакала прибывшая женщина в солдатской шинели и папахе. Когда она проснулась, незнакомая женщина, уже снова спокойная, стояла у гроба Януковского, сухими глазами глядела на его мертвую голову и утешала ее, как мать — ребенка:

— Не надо плакать, дорогая... Не надо...

Теперь эта женщина обходит ряды, наводя порядок, распоряжаясь похоронами...

Высокий, сырой, песчаный холм. Большая четырехугольная яма черной глубиной смотрит в солнечное небо, ждет с утра шестерых коммунаров.

Медленно и осторожно спускают в яму шесть красных гробов. Ружейный залп заглушает рыдание матери Хаимке, жены Янкеля и дочери Станислава.

Они стоят втроем скорбной группой. Никто из них не верит, что через несколько минут все будет кончено. Им почему-то кажется, что похороны будут продолжаться еще долго-долго и у них будет время для рыданий...

Низко склоняются знамена, накрывая шесть гробов тенью, темно-красной, как запекшаяся кровь...

Сорок тысяч человек молча обнажают головы, склоняют их к земле. Над свежей могилой говорит Анна Богданович. За эти несколько дней лицо ее похудело и пожелтело. Глубокие темные круги, следы тяжелых бессонных ночей, легли под большими глазами.

Она говорит немой толпе о тяжком пути шести коммунаров. Окончив речь, она кладет у открытой могилы венок и быстрым неровным шагом отходит в сторону.

На краю свежей могилы, на земляном холме, стоит теперь мальчик, старший сын Янкеля. Его правая рука поднята к небу над обнаженными головами сорокатысячной толпы. Худенькая детская рука дрожит от волнения. Точно ветер по густому лесу, по толпе проходит шум:

— Он дает красную клятву!

— Он обещает итти по пути отца и отомстить...

Детский голос дрожит над открытой могилой. Слова реют над Кафедральной площадью, падают в передние ряды, снова взлетают, перекатываются от человека к человеку, от толпы к толпе... И кажется, что вся сорокатысячная масса детскими устами Янкелева сына клянется отомстить...

Мать стоит за ним. Ее глаза сухи и широко раскрыты. Она забыла, что ее двенадцатилетний Давидка должен был бы теперь произнести «кадэш»<sup>1</sup>. В ней вспыхивает затаенная гордость. Она гордится своим мертвым мужем и живым сыном, что стоит теперь, окруженный партизанами, и произносит торжественную клятву. Мать срывается с места, расталкивает партизан и, схватив в объятия сына, кричит на всю площадь:

— Дитя мое, будь достоин своего отца,— и да будет светла твоя жизнь!

Платок спадает с ее головы. Ветер треплет черные волосы. Она хочет что-то сказать, но не может, и стоит неподвижно, сжимая в объятиях сына...

Серый, холодный вечер. Тень обволакивает Старый город. Снег на улицах побурел и истоптан прохожими. Опустевшая Кафедральная площадь погружена в безмолвие.

Два человека в военных шинелях охраняют братскую могилу. Шагают задумчивые, безмолвные. Ноги вязнут в рыхлом снегу.

Анна Богданович и Петр Лопатьев несут на площади почетный караул...

---

<sup>1</sup> Кадэн — заупокойная молитва.

## ГЛАВА ДЕСЯТЯ

### ОНИ ЖДУТ

— Глубоко их закопали!..

— Темно, хоть глаз выколи!

— Давай сюда фонарь: я уж два часа долблю камень.

— Они, верно, выкопали ночью их кости и спрятали где-нибудь. Мы впустую работаем.

— Сказано тебе: копай — ну, и копай!

— Уже светает. Скоро утро, а костей все не видать...

Сырая, гнилая ночь окутала Кафедральную площадь. Весь день шел проливной дождь. Потоки грязной воды понеслись по мостовой и тротуарам, затопили низменные места в городе. Иссохшая от жажды земля раскрыла все свои трещины-пасти и, наглотавшись вдоволь воды, удовлетворенная, успокоилась.

Тяжелые, густые тучи низко повисли над уснувшим городом. На пустынной грязной площади польские легионеры раскапывают братскую могилу. Кирки падают криво, точно пьяные, скользят по мерзлой глинистой почве, часто натываются на камень, на заржавевшую проволоку надгробного венка... Проволока, пробужденная от трехмесячного сна, дрожит, звенит, заливается тонким плачем и замолкает... Притупив-

шиеся железные кирки снова врезаются в мерзлую землю, тревожа покой ее глубин... Лом воззается в кусок сгнившей материи, некогда бывшей флагом... Материя обвивается вокруг лома, мешая его движениям, преграждает путь к пролам...

Усталый легионер расвирепел. Вытащив из ямы кусок материи, он с бранью отшвыривает его далеко от себя:

— Накидали, сукины дети, в яму тряпья и проволоки!

Прислонившись к полуразрушенному, давно уже обезглавленному памятнику Екатерине, стоит совсем юный офицер. Он втянул голову в плечи, нервно мнет лайковую перчатку и с тревогой поглядывает на темные тучи, в расщелины которых пробивается тонкими полосками серый рассвет... Офицер поминутно окликает легионеров:

— Еще не нашли?

— Нет.

— Чего так долго возитесь?

Легионеры работают из последних сил. Сырой, мертвящий холод идет из темных ям, щиплет лицо, леденит пальцы. Обильный пот струится по бледным лицам невыспавшихся легионеров. Они неустанно ударяют кирками о землю, сопровождая удары веселыми шутками. Но косые взгляды, которые они бросают по сторонам, и дрожащие голоса говорят о том, что за этой натянутой веселостью таятся уныние и страх...

Вдруг они замолкают... Оглядываются... Прислушиваются... Ночь, безлюдие, молчание... Ноги офицера, шагающего вдоль забора, хлюпают по лужам...

Голос легионера прорвал тишину:

— Говорят, они застрелились, чтобы не попасть к нам в руки.

— Одного пристрелили во дворе. Мы велели ему бежать, хотели выстрелить в спину: все же легче, когда не глядишь смерти в глаза. Но он повернулся к нам лицом и закричал: «Нате, стреляйте в грудь, сволочи!» А был он — простой крестьянин, военнопленный.

— Сын Януковского тоже лежит здесь. Тот самый, что в пятом году поднял крестьян против панов.

— И три жиды тут. Все вместе... У них все одно — что жид, что поляк; ежели ты веришь в Ленина, ты им брат.

— Тише: сержант услышит, отвезут с ними и нас.

— Еще не нашли?! — прорезает темноту голос офицера.

Легионеры притихли и снова взялись за кирки.

По другую сторону забора на мокрых камнях мостовой стоит огромный, нелепый грузовик. Ночная темь скрадывает его контуры. Шофер сидит у руля, втянув голову в меховой воротник... Он курит без перерыва. Огонек папиросы, вспыхивая, бросает отблеск на его пьяное лицо и красные глаза, выражающие тупое равнодушие...

Днем он отвозил на этом грузовике мясные туши с боен.

Офицер подходит к грузовику, нащупывает его в темноте и говорит злобно, отрывисто:

— Четыре часа. У меня приказ до рассвета сравнять могилу с землей. Уже светает, а приказ еще не исполнен.

— Для чего это нужно? — лепиво спрашивает шофер.

Лицо офицера принимает серьезное выражение:



— Сам маршал подписал приказ. Вчера вечером ему стало известно, что на площади, против нашего штаба, находится братская могила коммунаров. А днем приказ уже был в канцелярии.

Юный офицер стоит перед шофером навывтяжку, точно перед ним не дремлющий пьяница-шофер, а сам маршал.

Шофер, не отвечая, продолжает курить, пряча после каждой затяжки папиросу в рукав.

Офицер отходит на несколько шагов, возвращается и говорит таинственным голосом:

— Никто не должен знать, что это — дело наших рук. Штаб уже заготовил сообщение о том, что возмущенный польский народ, не стерпев позора, руками разрыл могилу и выбросил в поле кости продавшихся москалям изменников.

Не выдержав серьезного тона, офицер расхохотался и добавил:

— Хорошо сработано, а?

И отошел к забору.

От группы легионеров у развороченной могилы отделилась тень, приблизилась к офицеру и вытянулась, молчаливая и неподвижная, как изваяние. Офицер удивленно оглядел застывшую фигуру:

— Чего тебе?

Каким-то чужим, не своим голосом солдат выпалил:

— Не могу я больше копать... Я — солдат, а не могильщик. Освободите меня от этой работы...

И испугался собственных слов. Качнулся, расставив ноги, развел руками и закричал:

— Не могу копать! Делайте со мной, что хотите!

Несколько мгновений офицер стоял, растерянно глядя на солдата, не понимая, что тот говорит. Потом глаза его налились кровью и злобой...

— Что? Ты не можешь? Смирно! Не можешь? Назад! Назад! Не то застрелю, как собаку!

Легионер стоял, понурившись, не трогаясь с места. Офицер вытаскил револьвер, приставил его к затылку солдата и коротко скомандовал:

— Марш вперед!

Легионер почувствовал прикосновение холодного металла. Он мгновенно выпрямился и пошел обратно.

Не отнимая нагана от затылка, офицер довел легионера до братской могилы и ждал, пока тот не возобновил работу. У солдата дрожали руки. Лом его описывал чудовищные круги, ударял вкось и скользил по мерзлой земле.

Офицер вырвал лом из его рук, оттолкнул солдата, поднял лом высоко над головой и с размаху вонзил его в землю. Лом ударился о что-то твердое и отскочил.

— Здесь копайте: я расколол большевистский череп.

Он вытер носовым платком руки, натянул на пальцы лайковые перчатки и не отходил от могилы.

Теперь кирки попадают уже в деревянные гробы, глухим отзвуком будят ночную тишину... Солдаты быстро выбрасывают из ямы сырой песок, увядшие венки и ржавую проволоку. На толстых веревках вытаскивают из могилы гробы. Они густо покрыты песком, и только местами красные просветы указывают на их первоначальный цвет.

Гробы накрыты брезентом. Повеселевший офицер суетливо бегаёт вокруг, пробует, прочно ли держатся гробы на грузовике, точно им предстоит дальний путь.

Черные тучи вдруг разрываются в нескольких местах сразу. Серая полоса рассвета появляется на горизонте, медленно ползет через спящий город и ложится на зеленый брезент грузовика.

Легионеры засыпают яму, топчут грязными сапожищами братскую могилу, стирают следы своей ночной работы. Утомленные, нетвердым шагом идут к грузовику, усаживаются на брезент, на гробы и уезжают.

Узкими боковыми улицами и переулками, кружным, извилистым путем тащится тяжелый грузовик. Его сухой грохот будит спящие дома и избенки...

Грузовик останавливается...

Справа — лес. Слева — дорога. Между ними — поле.

Дождь прибил высокую рожь. Налитые колосья низко пригнулись к земле.

В ложбине, у лесной опушки, легионеры сбрасывают гробы с грузовика. Гробы падают один на другой с громким стуком и треском... Встревоженные птицы взлетают и растерянно кружат над своими гнездами. Колосья склоняются друг к другу и передают печальную весть...

Шесть гробов лежат между двух стран. Три обращены к России, три — к Польше. Их моют дожди, снежная выюга бушует над ними...

Тянутся жуткие ночи, мрачные дни, тоскливые месяцы и годы...

Но лес поет молодые коммунарские песни. Ветер уносит бодрящие звуки в темную ложбину, кладет их вместе с белыми снежинками на деревянные гробы и шепчет тихо и таинственно:

— Недолго ждать вам,<sup>1</sup> товарищи!

Красные гробы слушают и молчат.

И ждут...

## СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие . . . . . 5

### Ю Л И С

Глава первая. Путь, ведущий к Юлису . . . 13

Глава вторая. «Извлечение из Истпарта» . . 41

Глава третья. Ночное заседание . . . . . 51

Глава четвертая. В кольце . . . . . 67

Глава пятая. Второй день . . . . . 79

Глава шестая. Отряд . . . . . 94

Глава седьмая. Янкель Марат . . . . . 109

Глава восьмая. Последняя ночь . . . . . 123

Глава девятая. Похороны . . . . . 132

Глава десятая. Они ждут . . . . . 137

Редактор *Б. Черняк*  
Технический редактор *Б. Новиков*  
Корректор *Г. Гатуева и М. Лоренцо*  
Обложка работы художника  
*А. Литвак*

Зак. изд. 658. Индекс X-60. Тир. 10000  
Уполномоченный Главлита № Б-6574  
Формат бумаги 72×110 в 1/2 долю  
4 1/2 печат. л. по 53300 зн. 5,04 авт. л.  
Сдано в производство 8/V 1935 года  
Подписано к печати 13/VII 1935 года  
Зак. тип. № 99

Цена книги: 1 р. 25 к. Перепл. 50 к.

11-я типография Мособлаволиграфа.  
2-я Рыбинская, 3.

